

Абдулла Каххар

СКАЗКИ О БЫЛОМ

Повесть

*Как рыдает напев! Как стремится
Прозвучать
Чей-то горестный век...
Если музыка так им томится,
Как же прожил его человек?
Абдулла Арипов*

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОВЕСТИ

Детские годы мои прошли в кишлаках Ферганской долины: Яйпан, Нурсук, Кудаш, Бувайди, Толлик, Алкар, Юлгунзор, Аккурган. И когда в середине тридцатых годов я вспомнил свое детство, оно мне показалось беспорядочным и странным сном: это были времена, когда люди видели в небе хвостатую звезду — комету, а караульщик стрелял из ружья в Бабара, но тот остался жив. Тогда караульщик воскликнул: «Клянусь аллахом, впервые встречаю такого упрямого вора! Выстрелил я почти над его головой, а он и глазом не моргнул!»

У меня таких воспоминаний было множество. Чаще они всплывали на поверхность, но были и такие, что долгое время оставались где-то в глубине сознания. И остались бы там, если бы не Антон Павлович Чехов.

Тридцать лет тому назад мне в руки попало собрание сочинений Чехова. Я прочитал эти книги буквально за несколько дней. Произошло что-то удивительное, словно автор великолепных рассказов, мой глубокоуважаемый учитель дал мне свои очки. «Надень их и оглянись на прошлое своего народа», — сказал он.

Я точно выполнил этот его наказ и увидел, что «злоумышленник» Антона Павловича, пытавшийся отвинтить гайки на железной дороге, и «упрямый вор» Бабар, который шел туда, куда ему было велено идти, или стоял там, где ему было приказано стоять, были как бы двумя половинками яблока с древа эпохи.

Так проснулись в моем сознании картины детства, и прошлая жизнь еще полнее предстала перед глазами. Может, потому и родились

в середине тридцатых годов полные горя и печали мои рассказы: «Вор», «Болезная», «Националисты», «Городской парк». Они хорошо были встречены читателем. Однако эти рассказы, хотя они переиздаются и поныне, уже тогда вызвали возражения у многих. Жизнь, изображенную в них, молодежь считала очерненной.

Проходили годы, и с появлением нового поколения читателей эти возражения приобрели еще более резкий характер.

Упреки молодых читателей в последние годы стали сильней.

В 1960 году я написал рассказ «Страх» о прошлом узбекской женщины. И то, что в этом рассказе я заключил восемь женщин в гарем старого Алимбека-додхо, одной читательнице показалось оскорблением женской чести. Я получил от нее письмо без подписи и адреса.

«...Может, в прошлом все действительно было так, как вы описали в своем рассказе. Но стоит ли теперь, спустя столько лет, ворошить печальные страницы истории? Мне кажется, когда описываете картины прошлого, вы впадаете иногда в сочинительство...»

После таких обвинительных писем мне захотелось без всякого «сочинительства» описать прошлую жизнь, все, что видел, пережил и что осталось в памяти. Один из критиков, уже прочитавший несколько новелл из моей книги в газетах и журналах, недоверчиво и опасно воскликнул: «Не сгущены ли здесь краски? Не оставит ли эта книга у читателя слишком тяжелое впечатление?» Этот критик родился в 1930 году. Я не сомневаюсь в том, что молодежь, родившаяся позже него, может высказать свои подозрения куда более резко. Я хотел назвать свою повесть «Страницы былого», но, чтобы успокоить моих читателей, назвал ее «Сказки о былом».

Абдулла Каххар

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА

В Яйпане мы жили во дворе пекаря деда Алима. Посреди тесного маленького дворика, половину которого занимала пекарня, росли астры, желтоцвет, райхан, чабрец, заботливо ухоженные моей мамой. Низкий глинобитный дувал был весь испещрен дырочками, похожими на ласточкины гнезда. Дверь в доме была одностворчатая; маленькое, низкое, почти у самой земли, окошко выходило на айван — небольшую террасу. Чтобы скрыть от чужого взгляда то, что делается в доме, на окно была наклеена промасленная бумага. В доме было сыро и

настолько темно, что нельзя было различить друг друга на расстоянии двух шагов. Вторая половина двора, которую занимал сам хозяин, тоже была небольшая, но вся увитая густыми виноградными лозами. Правда, это не спасало от изнуряющей жары в летнюю пору.

Жена деда Алима, женщина уже немолодая, целыми днями пряла пряжу, изредка забегая к нам перекинуться словечком-другим с мамой. В ее глазах мы были несчастными людьми. Она знала, что мой отец, кузнец Абдукаххар, без конца кочует с места на место в поисках хорошей работы, и потому жалела нас. Утешая маму, она говорила:

*Кто не странствовал за солнцем следом?
Прожил жизнь, не быв ничьим соседом?
Кто себя, осевши на чужбине,
чужаком не чувствовал при этом?*

Старики жили одни. Сын деда Алима батрачил у кого-то из баев, дочь они недавно выдали замуж. Алим-бува вставал рано, еще до восхода солнца, пек лепешки и, сложив их в корзину из ивовых прутьев, выносил и раскладывал на прилавке перед домом. Потом он исчезал в саду и появлялся только перед вечерней молитвой. Пересчитывал деньги, и, если выручки не хватало, он начинал ворчать, но не потому, что денег было мало по сравнению с проданными лепешками, а просто он жалел человека, который попадет в ад за то, что украл хлеб у ближнего своего.

Стояли жаркие дни. Хотя двор наш был тенистым, в доме было полно мух. Однажды отец, закрыв наглухо дверь и окна, устроил дымовую завесу. Дым был настолько едким, что отец, еле дыша, вышел из дома и долго кашлял. Узнав о его действиях, дед Алим обиделся и, подойдя к дувалу, сказал:

— Не обижайте божьих тварей, уста. И мух тоже бог создал, вселил в них души!

Отец тотчас же прекратил травить мух.

Как-то к нам заглянул мой двоюродный брат — племянник отца, который охотился недалеко от нас, в Пасткуруке. Патроны у него кончились, и он забежал к нам набить новые. Несмотря на то, что мама мне строго-настрого наказала не подходить близко к брату, я с любопытством наблюдал, как он заправляет гильзы. Брат поджег немного пороха и показал мне, как он горит, и, взяв пистон, сверху

красный, а внутри белый, стукнул по нему камнем — раздался выстрел, я от испуга вздрогнул, а потом запрыгал от радости. Улучив момент, когда брат был занят набивкой патронов, я спрятал два пистона под палас. Когда он уехал, не знаю почему, я поймал муху и, зажав ее между двумя пистонами, положил на наковальню и изо всех сил стукнул по ним молотком — так грохнуло, что мама, которая, разговаривая с женой Алима-бува, перекапывала цветник, схватилась за поясницу и упала в кусты райхана. А старуха от испуга свалилась на мою маму и закричала: «Что ты наделал, сорванец! Иди сейчас же позови отца!»

Мама лежала, охая, и все же не забыла крикнуть мне: «Надень чарыки!» Я быстро на босу ногу надел чарыки и выбежал на улицу. Кузница наша стояла на перекрестке возле самого базарчика, и оттуда слышался стук молотка о наковальню. Отец раздувал мехи кузнечного горна; увидев меня, он испуганно подбежал и спросил: «Что случилось?» Ничего не объясняя, я сказал ему, что мама плачет. Развязав фартук, отец вышел из кузницы и, вскочив на свою «шайтан-арбу», как тогда называли велосипед, помчался домой. От испуга я остался стоять как вкопанный. На другой стороне перекрестка, там, где располагались лавки торговцев, на деревьях висели разноцветные клетки, и оттуда доносилось несмолкаемое кудахтанье кекликов — горных куропаток — и пение перепелов.

Я вышел из кузницы, перешел на противоположную сторону, и только успел подойти к лавке, где кудахтала горная куропатка, как меня позвал отец. Он слез с «шайтан-арбы», завязал фартук и укоризненно покачал головой: «Что же ты в маму стрелял?! Разве можно стрелять в маму, которая тебе подарит братика?» Папа сунул мне в руку конец веревки кузнечного горна. Я понял, что ничего страшного не произошло, и молча принялся раздувать мехи.

Папа взял из печи докрасна раскаленный кусок металла, положил его на наковальню и стал пробивать дырку. Маленький, с горошину, шарик скатился с наковальни на пень, а с пня прямо мне в чарыки. Чарыки впопыхах я надел неправильно: левый на правую ногу, а правый на левую. Шарик прилип к моей ступне. Я закричал от боли. Папа быстро стащил с моих ног чарыки и, подняв меня на руки, положил на скамью. Когда я опомнился, надо мной уже сгрудилось несколько человек. Один обмахивал меня полотенцем, другой дул на рану... Кто-то сказал: «Да этот мальчик герой, он совсем не плачет, а ржет, как жеребенок!» Хотя нога у меня очень болела, я перестал

плакать. Но тело дрожало, и слезы сами по себе градом катились из глаз. Какой-то старик приложил к моей ране кусок обгоревшего войлока и перевязал ногу тряпкой. Один из папиных приятелей сунул мне в руку большой леденец и розовый пряник, по форме отдаленно напоминающий коня. Когда я совсем успокоился, папа сказал мне: «Настоящий кузнец в огне закаляется!» — и погладил по голове.

К вечеру папа закрыл кузницу, посадил меня на спину, и мы отправились домой.

Мама, узнав о том, что я обжег себе ногу, чуть не лишилась чувств. Да так и не вспомнив, зачем она меня послала к отцу, стала ругать себя за то, что отпустила меня одного в кузницу. Похоронившая восьмерых детей, мама не доверяла меня никому и потому не отпускала от себя ни на шаг. Теперь она даже забыла, что утром я напугал ее. Отец с матерью, удивляясь, говорили о ловкости и смелости такого маленького существа, как я, который один сумел сходить в кузницу. Словно все беды и несчастья, какие только есть в мире, поджидали меня на моем пути, а я, ловко увернувшись от них, добрался до отца.

После этого в глазах родителей — «слава аллаху!» — я заметно вырос и уже вполне самостоятельно мог выходить на улицу, но с условием далеко от дома не забредать. Правда, еще ни разу я не возвращался с улицы веселым. В первый же день моей самостоятельной прогулки я свалился в канаву. На узком мостике через канаву лежала связка стеблей кукурузы; пытаясь сбить ее ногой в воду, я поскользнулся и полетел вниз. Кто-то из прохожих вытащил меня. Со слезами на глазах я возвратился домой со своей первой прогулки. Мама была напугана больше, чем я; она подвела меня к очагу, побрызгала мне в лицо водой, даже забыв снять с меня мокрую, прилипшую к телу рубашку; потом подожгла кусок тряпки и, повертев ею несколько раз вокруг моей головы, выбросила — так она меня лечила от испуга. После этого случая мне долгое время не разрешали выходить на улицу. А однажды я сидел на пороге дома и лепил из глины разные фигурки, как вдруг со стороны базарчика показалось несколько всадников. Это были казаки. Я никогда раньше не видел их. Заглядевшись на синие фуражки с красными околышами, из-под которых торчали длинные чубы, на их необычную одежду, я и не заметил, как далеко ушел от дома. Когда я огляделся — вокруг было поле. Я сразу повернул назад, но вскоре убедился, что ни дома, ни даже своей улицы мне не отыскать. Я сел на развилке дорог и заплакал. На мое счастье, подъехала арба. Сойдя с

лошади, арбакеш обо всем расспросил меня. Оказалось, что он знал моего отца; посадив на арбу, он отвез меня домой. Об этом случае я матери не рассказал — знал, что она перестанет пускать меня на улицу. Но арбакеш все рассказал моему отцу, и мама, узнав о моих злоключениях от папы, страшно обеспокоилась:

— Боже ты мой, повезло тебе на этот раз! Что бы мы делали, если бы казак взял тебя за ногу и ударил бы об землю? Или увез бы тебя с собой! Запомни, если увидишь русского, беги домой. Лучше не попадайся ему на глаза!

А папа похвалил меня:

— Молодец! Да ты, я вижу, смелый парень. Взрослый и то робеет при виде казака.

И то, что я не испугался казаков, и то, что я уже мог самостоятельно ходить в кузницу, радовало моего отца. После этого мне позволялось свободно ходить на прогулки и даже заходить на соседние улицы. Если ребята не принимали меня в свой круг, я наблюдал за их игрой со стороны и, когда мне надоедало это занятие, спокойно возвращался к себе домой.

Пришел месяц рамазан. По утрам нас будила барабанная дробь или звуки сурная, чем-то напоминающие мне блеяние козы. Я представлял себе уразу как что-то интересное и загадочное. Несколько раз я поднимался рано, до восхода солнца, вместе со взрослыми пробовал соблюдать пост. Но самым интересным для меня оказались базаршабы — ночные базары. Отец однажды водил меня на такой базар.

От перекрестка и до самой площади во всех ларьках и будках горело бесчисленное множество керосиновых ламп и свечей. Народу видимо-невидимо. Крик, шум, смех, песни неслись отовсюду. «Хлеб горячий! Горячий хлеб!», «Самса горячая! Полезна и питательна! Особенно на завтрак! Бери у меня, глотай не жуя!» — зазывали продавцы. Между ними, рассыпая на земле искры, сновали ребяташки с бенгальскими огнями. Взлетела из-за деревьев к небу ракета и, взорвавшись, рассыпалась на множество огоньков, похожих на яркие звезды.

Папа повел меня в чайхану. Там тоже было много народу. Большая лампа, висевшая прямо над головой, ярко горела. Мы прошли мимо сури — низких деревянных настилов, на которых сидели люди, и поднялись на айван. Кто-то подхватил меня под мышки и посадил на ковер. Рядом со мной освободили место моему отцу. То ли под сури, то ли над ней кто-то очень тонким, но звонким голосом пел песню. Я стал

озираться по сторонам. Папа толкнул меня в бок и указал на небольшой ящик с огромной трубой, по форме напоминающей цветок повилики, оттуда доносилась песня. Я много раз слышал о заводном ящике, который поет, но видеть его мне раньше не приходилось. Раскрыв рот от удивления, я долго глядел на граммофон. Когда песня кончилась, чей-то голос из трубы произнес: «Молодец, Хамрокул-кары!» Мне показалось, что в этом желтом ящике было заперто много-много маленьких человечков.

А потом вдруг совсем рядом раздался какой-то треск. От испуга я прижался к отцу, но он успокоил меня: «Не бойся, сынок, это ракета!» Я посмотрел в ту сторону, где была толпа. По кругу, как лягушка, прыгал огненный шар. После каждого треска он подпрыгивал выше человеческого роста. Многие, как и я, испуганно шарахались в стороны, а толпа весело смеялась. Тут заговорили о ракетах, фейерверках, и один бородатый старик рассказал такой случай. Был в Ходженте знаменитый мушакбоз. Пригласили его на свадьбу к одному баю устроить фейерверк, так этот самый мушакбоз, привязав к поясному платку четыре ракеты, взлетел выше тополей. Хорошо, люди поймали его за веревку, привязанную к ноге, да спустили на землю. Все слушали старика и удивленно качали головами.

Снова завели граммофон. В другом углу чайханы завертелась волчком ракета, извергая дым и пламя. Потом началось представление, которое называлось «Буваковок».

Маленький человечек с узкими глазами, вероятно киргиз, появился из-за камышовой циновки. Он положил на сури три бурдюка с кумысом, расстелил коврик и, удобно расположившись, пощелкивая пальцем по косе, стал расхваливать свой товар. Из-за той же циновки верхом на белом ишаке выехал высокий человек с большим животом, с длинной бородой, расчесанной на две стороны. Это и был Буваковок. Проезжая мимо киргиза, он спросил: «Сколько стоит твой кумыс?» Киргиз, расхваливая свой товар, ответил: «Одна коса две таньги!» Буваковок недовольно покачал головой и предложил за десять кос одну таньгу. Киргиз не согласился и даже накричал на него. Люди стали смеяться над продавцом кумыса. Буваковок сошел с ишака, подошел к киргизу, развязал один бурдюк и попробовал кумыс. Потом подошел ко второму бурдюку, проделал то же самое. Киргиз, схватив развязанные бурдюки, крепко зажал им горловины, чтобы кумыс не выливался. А Буваковок тем временем оттащил в сторону третий бурдюк и снова наполнил

кумысом косу. После каждой осушенной чаши он приговаривал: «Десять кос одна таньга! Согласен?» Киргиз топал ногами, кричал, но отпустить развязанные бурдюки не мог. Люди же весело смеялись.

Теперь за меня не беспокоились. Я целыми днями бегал по соседним улицам, играл с мальчишками в разные игры и возвращался домой поздно вечером весь вывалянный в пыли, с порванной рубахой и штанами. Но мама не ругала меня. Она радовалась, что я начал проявлять самостоятельность. И вот, когда я нашел себе хороших друзей на нашей улице, мои родители решили вдруг переехать из этой махалли.

Однажды напа на своей «шайтан-арбе» уехал в Коканд. Возвращаясь вечером из города, он повстречал сестру деда Алима — старуху лет восьмидесяти. Папа промчался на велосипеде мимо нее на большой скорости. Когда старуха увидела, что какое-то человекоподобное существо летит по воздуху, не касаясь ногами земли, она от страха упала в обморок. Собрались люди. Старуху на носилках унесли домой. Папа очень переживал за нее и несколько дней не выходил на улицу. Через три дня сестра деда Алима умерла. Отец от переживаний совсем похудел, а мама целыми днями плакала. Через неделю Алим-бува прислал человека и передал: «Пусть уста не переживает! Он не виновен в том, что произошло, просто пришел смертный час моей сестры. Такова, значит, воля божья! Но пусть он больше не ездит на своей «шайтан-арбе».

На следующий же день папа поехал в Коканд и там продал свою «шайтан-арбу». Повстречав деда Алима, папа принес ему свои извинения, а чтобы искупить вину, сделал старику два кетменя и один топор. Но дед Алим, видно, не понял благих намерений моего отца и заплатил ему за все.

На этом вроде бы все успокоились, и нелепый случай с «шайтан-арбой» стал забываться. Но прошла еще одна неделя, и произошло такое, после которого нам пришлось переехать в другой кишлак.

Отправившись утром в кузницу, папа повстречал в переулке женщину в парандже. К ее подолу со спины прилип куст верблюжьей колючки. Папа хотел снять эту колючку и наступил на куст ногой. Колючка отстала, дернув за подол,— женщина обернулась, взглянула на папу и пошла себе дальше. Это была старшая дочь Алима-бува, недавно вышедшая замуж. Дома она рассказала отцу, что Абдукаххар-уста заигрывал с ней и дергал за паранджу.

Рано утром голос деда Алима гремел на весь квартал:

— Эй, шайтан-арба! Эй, пришелец! Выходи! Выходи, и я покажу тебе, как заигрывать с чужими женами!

Мы ни разу не слышали, чтобы он так шумел. Ведь Алим-бува был очень тихим и спокойным стариком. Отец испуганно смотрел на мать. Она, растерянная и бледная, боялась выйти из дома. Папа вышел со двора на улицу. Я последовал за ним. Я совсем не узнал деда Алима. Передо мной стоял совершенно другой человек. Старик стоял, вытащив руку из рукава чапана, словно готовился к кулачному бою. Прежде всегда добрый и ласковый, он звал меня «дитя мое», а теперь из его уст лилась такая брань, какую я отроду не слышал. Выпученные глаза готовы были выскочить из орбит. Лицо старика казалось бледнее его седой бороды. Он весь дрожал от негодования. Как только вышел мой отец, на него посыпались оскорбления. То и дело слышалось: «Пришлая собака...» Все, что ему с преувеличениями рассказала дочь, в его воображении обрело еще большие размеры, и он выложил это моему отцу. Папа стоял, виновато склонив голову, и только повторял:

— Алим-бува, послушайте меня!

Но старик не давал ему и рта раскрыть, а все грозился, ругался, махал перед его лицом руками.

— Сейчас же собирай вещи, пришлая собака! Убирайся из моего дома!..

Дед Алим кинулся во двор и, пройдя мимо застывшей в испуге матери, вошел в дом.

Мой папа, все повторяя: «Отец, послушайте меня!», кинулся за ним.

Старик вытащил из дома наши одеяла и швырнул их на улицу в пыль. На шум сбегались соседи. Никто не пытался мешать деду Алиму. А кто-то даже крикнул:

— Ничего хорошего нельзя было ожидать от человека, который ездил на шайтан-арбе! Бей его!

Дед Алим, проходя мимо отца, размахивая руками, сказал:

— Ты думал, моя дочь шлюха? Пришлая собака! Не жить мне со своей женой, если я еще взгляну на твою рожу!

Он ушел к себе, на свою половину двора. Но и оттуда еще долго доносилась его грозная брань.

Папа поднял с земли одеяла и занес в дом. Мама с растрепанными волосами стояла у стены и плакала. Папа, пытаясь успокоить ее, рассказал о том, что произошло на самом деле.

— Сейчас старик в гневе и слушать не хочет меня. Он поклялся, что не будет разговаривать со мной. Но потом он поймет свою ошибку, и ему станет стыдно...

— Как вам не совестно заигрывать с чужими женами! Как не совестно! — всхлипывала мама.

Папа сердито посмотрел на нее, но ничего не сказал и вышел на улицу.

Вернулся он поздно ночью. Как я йотом узнал, папа нашел нам дом в махалле Кошарык и приехал за нами на арбе, запряженной ишаком. Погрузив свой скарб на арбу, мы в ту же ночь переехали в Кошарык.

«МОЛЧУН»

Махалля Кошарык была значительно дальше от базара. Улица, на которой мы сняли дом, упиралась в рощицу, где протекали два больших арыка. Место это матери очень понравилось: посреди двора росло большое туговое дерево, старенький светлый домик с пристроенным к нему айваном стоял в глубине.

Ближе к вечерней молитве я вышел на улицу. С шумом и криками по ней носились ребята. Они играли в новую для меня игру. Играющие разбиваются на две команды и, взявшись за руки, выстраиваются в цепи на расстоянии тридцати шагов друг от друга. Старший одной команды, обращаясь к другой, кричит: «Тополь белый, тополь синий, кто из нас тут самый сильный?» Старший второй команды отвечает: «Такой-то!» Избранник должен разбежаться и со всей силы ударить по цепи. Если он прорывал ее, то забирал в свою команду одного пленного, если нет — сам оставался у противника. Я тоже присоединился к одной из играющих сторон. Играли мы долго. Ни одна из команд так и не пополнила своих рядов. Я с нетерпением ждал, когда назовут мое имя. Я бы постарался порвать цепь и привести одного пленного. Но никто так и не назвал меня.

Я совсем забыл, что ребята не знали моего имени.

Когда надоело играть в эту игру, долговязый парень, больше всех кричавший на ребят, подошел ко мне и, оглядев с головы до ног, сказал:

— Пришелец!

— Сам ты пришелец! — ответил я и стал пятиться. Мальчишка подскочил и дал мне подзатыльник. Я не хотел отвечать тем же — их было много, и могло кончиться для меня плачевно. Ребята так и

носились вокруг меня, как воробьи, завидевшие змею. В это время высокий худой старик в белом чапане, следивший за нами, сказал:

— Оставьте в покое его, ребята! Не трогайте! Ведь он не сам захотел стать пришельцем, бог за грехи его так наказал.

Ребята сразу же разошлись. И если раньше я слышал от Алима-бува слова «пришлая собака», звучавшие для меня как оскорбление, то не думал, что обычное слово «пришелец» вызывает отвращение. Эти слова старика очень сильно ранили мою душу. Я ушел к себе во двор. Ничего об этом родителям не рассказал. Я схоронил все это в душе. С этого дня мне стали безразличными все мальчишки нашей махалли, и мне расхотелось выходить на улицу.

Вскоре мама родила мне сестренку. И даже это не обременяло меня, хотя я целыми днями носился по дому, помогая матери. После родов она захворала. Правда, соседи не оставляли нас без внимания: женщины пекли лепешки, стирали наше белье. Зато все остальные дела по хозяйству легли на меня. Каждый день по два раза я подметал двор и комнаты, ходил за дровами, помогал отцу готовить обед, мыл посуду, носил воду, стирал пеленки Ульмасой.

Болезнь у мамы была какая-то странная: ее мучила сильная жажда, потом судорогой сводило руки, и она лежала, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Папа хотел привести знахаря, но мать не согласилась. «Это оттого, что во дворе у нас нечистый дух поселился»,— сказала она. Как-то мама лежала, глядя в окно, и увидела, что через проем в дувале у тутового дерева пролезла к нам во двор черная коза и вдруг на глазах исчезла. По ее мнению, это был джинн. Вот отсюда и все ее болезни, считала мать. Отец купил Коран, подложил ей под подушку. Но и это не помогало. Приступы участились. Кто-то из отцовских друзей посоветовал ему сходить к Учармахсуму. Его молитва вмиг ее вылечит, говорили ему. Учармахсум славился на всю округу как великий знахарь. Ходили слухи, что его молитва изгоняет все болезни, раскрывает тайны и что он силой одних только заклинаний отпирает любые замки. Учармахсумом, крылатым, прозвали его за то, что он вмиг появлялся там, куда его приглашали.

И у нас он появился неожиданно. Учармахсум словно влетел в комнату, такой он был худой и маленький, сел неподалеку от матери, лицо которой было укрыто платком, и, покачиваясь из стороны в сторону, стал читать молитву. У Учармахсума были круглые светлые глаза, из-за редкой бороды и темного рябого лица нельзя было

установить его возраст, однако во рту у него не было ни одного зуба. После этого он приходил к нам еще несколько раз. В те дни, когда он был занят, я бегал к нему домой и приносил матери бумажки, исписанные разными молитвами. Мама опускала эти бумажки в пиалу с водой, держала их там, пока не растворялись чернила, и пила.

А как-то Учармахсум пришел к нам со своими девятью учениками, знавшими наизусть Коран. Они сели по обе стороны от мамы и стали читать сорокакратную молитву — это был какой-то особый вид лечения от болезни, после которого больному становилось либо лучше, либо хуже. Через две недели мама поправилась.

После того как мама почувствовала себя лучше, к нам в гости пришли соседки. По обычаю, каждая принесла с собой что смогла. Они быстро приготовили плов. Большинство гостей были веселые, жизнерадостные женщины. Одна из них, толстая женщина, взяла маму за руку и, как цыганка, стала гадать:

*О святые! О пророки!
Мы погрязли во грехе.
Я про все ее пороки
прочитаю по руке...*

Женщины смеялись, слушая ее. Но больше всех смеялась мама. Я ни разу не видел, чтобы она так заразительно хохотала.

Другая женщина, чуть помоложе толстухи, рассмешила всех, давая мужчинам махалли прозвища. Мадамин-растеряха — он всегда терялся при виде женщин; Гани-шатун, этот был высокий и сухопарый и, когда ходил, шатался из стороны в сторону; Нурмат-неуравновешенный... Она ловко изображала, кто как ходит, как разговаривает. Женщина дала папе прозвище «корноухий». Ну и смеялись все! А мама удивилась — столько лет прожив с отцом, она и не знала, что у паны ухо с щербиной.

Когда женщины утихли, толстая женщина, та, что гадала маме, заметила меня, подозвала к себе и, погладив по голове, сказала:

— Мама твоя поправилась, ты не сиди с женщинами, иди погуляй!

Я промолчал. Я никому не говорил, что не люблю махаллинских ребят за то, что они обзывают меня пришельцем.

— На базарную площадь цирк приехал. Ты был в цирке? — спросила она.

Я молчал. Тогда в разговор вмешалась молодая женщина, та, что

давала всем мужчинам прозвища:

— Отвечай же! Что у тебя, языка нет?

Я совсем растерялся. Толстуха схватила меня за уши и потерлась головой о мой лоб.

— Будешь говорить или нет?

Мама, вероятно, забыла, как сама не пускала меня на улицу, когда мы жили у Алима-бува, что я целыми днями нянчил сестренку да помогал маме по хозяйству и никто из взрослых со мной почти не разговаривал. Она сказала:

— Он у нас «молчун»!

Толстуха взяла меня крепко за руку:

— Будешь говорить или нет, а не то я упрячу тебя под подол! — Она привстала с места, как бы собираясь привести в исполнение свою угрозу.

Я вырвался и убежал. Женщины смеялись и говорили обо мне. До самого их ухода я просидел на пороге дома.

Через несколько дней к нам в гости приехали мамины подруги из соседнего кишлака. Они тоже заметили, что я все время молчу, и одна из них сказала: «Хороший мальчик у Абдукаххара, да жаль, немой!» После ухода гостей мама об этом рассказала папе.

Наступила осень. У папы прибавилось работы, и он взял меня к себе в помощники. «Поработаешь, пока найду себе ученика», — сказал он. Я каждый день вставал рано и вместе с отцом отправлялся в кузницу. Он поставил меня раздувать мехи. Работа была несложная: дергай за веревку вниз, потом отпускай, дергай — отпускай.

Никому до меня дела нет, разговаривать ни с кем не надо. Хотя и скучно, но я был рад этому: по крайней мере, никто не дразнил меня «пришельцем».

Однажды к нам в кузницу пришел высокий, в ковровой тубетейке каратегинец Додарходжа. И с ним, точно в такой же тубетейке, пестром чапане, босой подросток, который оказался его младшим братом. Звали его Куляля. Додарходжа вот уже двенадцать лет работал на маслобойне у Артыка-аксакала, и Куляля вместе с братом ходил по кишлакам, продавая масло, кунжут, халву. Додарходже недавно удалось на время устроить Кулялю учеником к жестянщику, но там ему не понравилось. Додарходжа сказал: «Абдукаххар-уста, обучите моего брата ремеслу кузнеца. Большого от вас не требую. Век вам буду благодарен». Отец принял Кулялю к себе учеником и даже пообещал платить ему за

работу. Куляля, сияющий от восторга, взял из моих рук веревку. Но я не испытывал никакой радости: опять мне придется сидеть дома с сестренкой и мамой, которая будет пытаться выудить из меня хоть одно слово. Я стал сторониться людей и искать уединения. Это всерьез обеспокоило моих родителей. Мама настояла на том, чтобы пана сводил меня к Учармахсуму. Учармах сум долго читал молитву и дал мне на кончике пальца лизнуть своей слюны. После этого я стал избегать даже своих родителей. Я ни с кем не разговаривал потому, что когда начинал что-нибудь говорить и задумывался над этим, то забывал то, о чем собирался сказать.

«ЗИНГЕР-БАЙ»

Однажды Куляля прибежал из кузницы и, задыхаясь от бега, сказал маме:

— Апа, Абдукаххар-уста просит дать семь с половиной таньга. Он хочет купить «Зингера».

Мама, даже не поинтересовавшись тем, что такое «Зингер», ушла в дом и вынесла небольшой узелок с деньгами. Считать она не умела и потому, ни слова не говоря, протянула его Куляле. «Наверное, «Зингер» что-нибудь интересное»,— подумал я и побежал за ним.

На перекрестке, прямо против кузницы отца, была торговая лавка с небольшой террасой. Сейчас там было много народу, и на сандале — низком деревянном столике. — стояла какая-то большая, черная и блестящая вещь, чем-то похожая на жука. Все смотрели на нее с тревогой и удивлением. Те, кто посмелее, осторожно прикасались к машине. Из лавки, вслед за городским человеком в пиджаке с отложным воротником, вышел папа. Куляля одним прыжком очутился на айване и протянул ему деньги. Отсчитав семь с половиной таньга, папа отдал их горожанину, а тот, присев на край сандала, стал что-то писать, разложив на коленях бумагу.

Гомон не смолкал. Обсуждая покупку, люди говорили разное: Машина, что шьет шапки!

— Вай, гнусавый, государство не такое глупое, чтобы дать тебе машину, что шьет шапки!

— Говорят, эта машина и косоворотки шьет, и пиджаки!

— Верно, стоит только ручку покрутить, а ткань там, внутри машины!

Горожанин протянул папе исписанную бумагу, взял несколько разноцветных лоскутков, лежащих на сандале, прострочил их на машине и, чтобы показать, насколько крепко они сшиты, изо всех сил стал тянуть, стараясь порвать. Ткань лопнула, но не по шву — шов остался целым. Все ахнули. «Вот это да!» — воскликнул кто-то из толпы. Один из тех, кто посмелее, подошел поближе.

— Вот здорово! Скажите, а на ней подпругу сшить можно?

— Все можно! Даже кошму можно залатать! — ответил горожанин и, повернувшись к толпе, рассказал об условиях торга.

Машина стояла сорок восемь таньга. Но если заплатить за нее семь с половиной таньга, то можно ее купить с рассрочкой на шесть месяцев.

Отец взял машину и подал ее Куляле. Толпа оживилась, загудела, как улей. Люди толкали друг друга, лезли вперед, стараясь взглянуть уже не на машину, а на ее владельца. Они смотрели на моего папу с завистью. Куляля взвалил машину на плечо, и мы с ним пошли домой. За нами бежала толпа любопытных мальчишек.

Весть о том, что уста Абдукаххар приобрел «Зингера», мигом облетела махаллю. И через какой-то час к нам началось паломничество. Приходили люди чуть ли не со всего кишлака. Среди них была и та толстуха, что укоряла меня за молчание. Она немного разбиралась в швейной машине и тут же, на глазах у всех, из старой скатерти сшила мне рубашку. Я же, как герой, надел ее и вышел на улицу. Ребята кружились вокруг меня и, забыв о том, что недавно обзывали меня «пришельцем», стали спрашивать: «Покажи нам своего «Зингера»!»

Вне себя от радости я побежал домой и затараторил:

— Ребята просят показать им моего «Зингера»!

Толстуха, что учила шить мою маму, взглянула на меня.

— Вай, да у тебя, смотрю, язык появился! — сказала она.

Мама не поняла, видно, отчего я так возбужден, и радостно заметила:

— Спасибо Учармахсуму! Это он своими молитвами выгнал из него беса...

Смущенный, я снял с себя рубашку. А когда через некоторое время вышел на улицу, ребят уже не было.

Спустя два дня махаллю облетела весть: «Надирхон из Кайку-вата тоже купил себе «Зингера».

Там Надирхон-тура, здесь уста Абдукаххар!..

Так мой папа стал известным человеком в махалле. С того дня его

прозвали «Зингер-баем». Об этом я узнал от махаллинских ребят.

Радость была недолговечной. Вечером папа приходил с работы, и мама принималась рассказывать ему о новых слухах, ходивших по кишлаку: «не творит намаз», «как приехал в махаллю, ни разу 170 не приносил жертву злым духам», «людей сторонится», «чем покупать «Зингера», лучше сделал бы обрезание своему единственному сыну!» Слухи с каждым днем все росли. Наконец Куляля принес с базара весть о том, что «Зингер-бай» когда-то на «шайтан-арбе» убил человека.

Родители тяжело переживали все это. Мама плакала. А папа, хоть и скребли у него на душе кошки, как мог старался утешить ее. По словам папы, Алим-бува не требовал возмездия за смерть сестры, ибо он считал ее смерть «волею божьей».

Но все же в слухах была доля истины. И мои родители решили исправиться, устроив той по случаю моего обрезания. Целый пуд риса ушло на плов. Видно, папа с мамой не ожидали такого наплыва гостей и очень удивились, когда на той собралась вся махалля во главе с имамом. «Слава аллаху!» — вздохнули они. За угощением зашел разговор о швейной машине, и имам нашей махалли будто бы сказал, что в одежде, сшитой на «Зингере», нельзя ходить в мечеть.

После ухода гостей папа завернул швейную машину в мешковину и засунул под тандыр. А сам стал по три раза на день ходить в мечеть молиться.

И на этом вроде все успокоились, если бы не новая тревога.

Как-то под утро мама проснулась от плача Ульмасой. Взглянула в окно и видит: перед паласом, закрывающим проход на улицу, стоит какой-то человек; заметив, что мама проснулась, он перемахнул через дувал. А однажды утром мы обнаружили куски глины, отвалившиеся от дувала, под большим тутовым деревом. Хотя в доме у нас ничего такого, что можно было бы украсть, не было, все же стало как-то тревожно. Несколько ночей папа ходил но двору с топором.

— Больших баев закон охраняет,— сказал папа,— Когда в дом Миракила-хлопкоторговца залезли воры, досталось всем, начиная от мингбаши. Даже следователи из города приезжали. А если Зингер-бая обворуют, никто пальцем о палец не ударит!

Папа откуда-то притащил большой черный револьвер. Он был такой тяжелый, что я с трудом удерживал его двумя руками. Револьвер, видно, был неисправный; ночью, закрыв наглухо окна и двери, при свете керосиновой лампы папа починил его, смазал маслом и стал на

ночь класть револьвер под подушку. Мама теперь боялась другого: вдруг кто-нибудь проведает про отцов револьвер — и опять начнутся неприятности. И когда приходилось к слову, она говорила не «револьвер», а «машина-кушик» — «граммофон». Папа даже отругал ее:

— Не смей говорить так! Не дай бог, еще пустят слух, что я купил «машина-кушик»!

Как-никак, а благодаря «Зингеру» авторитет мой среди ребят вырос. Они стали принимать меня в свои игры, и вместе с ними я с шумом и криками носился по улицам кишлака.

Но произошли события, после которых мои родители решили переехать из Яйпана в Коканд.

Поздней осенью из Коканда приехал к нам в гости дядя Абдурахман. Дядю я не помнил, хотя когда-то мне и доводилось его видеть. С длинной, клинышком, бородкой, он был очень похож на моего отца. Только чуть повыше ростом и крепче телосложением. Он все время дергал носом и при этом машинально проводил под ним указательным пальцем.

Дядя Абдурахман собирался выдать свою дочь Савринисо замуж за Азима, который был у него в подмастерьях. Он приехал к нам в надежде на яйпанском базаре подешевле купить рис и масло, а заодно сообщить о том, что началась война с Германией. И он предложил нам переехать в город.

С начала войны, оказывается, уже прошло полтора месяца. Об этом и сам дядя узнал только в минувшую пятницу. Элликбаши, останавливая всех шедших на базар, говорил: «Если есть что железное в доме — лом и всякий хлам,— приносите во двор мечети, царскому правительству пригодится». Дядя тогда спросил: «Что же будет делать царское правительство с этим хламом и что оно, как старьевщик, собирает всякие железки?» Элликбаши объяснил, что началась война с Германией и что из собранного лома будут отливать пули.

Хотя мы и не представляли себе, что такое война, но от дядиных слов: «Нам теперь всем лучше быть вместе»—в сердце вкралась тревога.

В базарный день папа с дядей купили рис, масло, и в тот же вечер дядя собрался в обратный путь. Перед отъездом он сказал моей матери:

— На свадьбе, видать, тебе придется хозяйничать. Моя жена, бедняжка, совсем слегла... Вот я и спешу, чтобы она перед смертью хоть свадьбу дочери увидела...

Через несколько дней, погрузив вещи и папины инструменты на арбу, мы поехали в Коканд.

ГУРИЯ

В Коканд мы приехали в полдень. На улицах народу видимо-невидимо, как в Яйпане в базарные или праздничные дни. Навстречу попадались легкие повозки, запряженные лошадьми с колокольчиками; большие арбы, крытые тентом; люди верхом на ишаках или арбы, запряженные ишаками. По обе стороны улицы в ряд расположились лавки, ларьки, мастерские: отовсюду слышен грохот — стучат о наковальни медники и кузнецы. По улице шел нарядный мальчишка и играл на губной гармошке. Когда мы проезжали по одной из улиц, послышался жуткий вой, как будто целый двор женщин зарыдал в один голос, придя на поминки. Я испугался, а папа сказал: «Не бойся, сынок, это завод Мираббибая народ на работу скликает».

Дом моего дяди находился в махалле Кипчакарык. Зеленый уютный дворик, скрытый от солнца густой кроной деревьев, располагался в низине. Говорили, что на этом месте раньше протекала речка, которую засыпали и стали строить дома. Огромная развесистая ива укрывала тенью чуть ли не половину двора. Нас встретила старушка, одетая во все белое, и худенькая, бледная девушка с пугливыми черными глазами. Она была в желтом платье и красной жилетке. Старушка оказалась матерью папы, моей бабушкой, а девушка — ее звали Савринисо — моей двоюродной сестрой, дочерью дяди. Бабушка обняла папу, а Савринисо, положив голову на грудь моей маме, расплакалась, потом вытерла рукавом слезы и тогда обняла и поцеловала меня. Бабушка и Савринисо повели нас через небольшую постройку, в которой был тандыр и очаг, в темную комнату. Там лежала тяжелобольная жена моего дяди. Она была такая худая и бледная, что, глядя на нее, мне стало страшно. Савринисо взяла меня за руку, и мы вышли во двор. Она повела меня к расположенному в другом конце двора красивому, видно, недавно построенному дому и, усадив на ступеньки, ведущие на террасу, достала из кармана две конфеты. «Скоро Гаффарджан из школы придет. Вместе будете играть», — сказала Савринисо и исчезла в доме. Через некоторое время она появилась, неся в руках большой кусок халвы.

Пришел из школы Гаффарджан. Я сразу догадался, что это он, хотя

ни разу до этого его не видел. Не обращая на меня внимания, он швырнул учебники на сури и, подбежав к дереву, стал что-то искать в дупле. Савринисо подошла и что-то шепнула ему на ухо. Гаффарджан стал хныкать. Савринисо что-то еще сказала ему, тогда он сел на землю, застучал пятками по земле и заплакал. Савринисо вернулась ко мне. Гаффарджан все продолжал орать, только плакал он не беспрерывно, временами он отвлекался чем-нибудь, видимо, позабыв обиду, а когда вспоминал, начинал орать пуще прежнего.

Из дома вышла бабушка и, увидев плачущего внука, подбежала к нему и, глядя по головке, спросила, кто его обидел.

— Я попросила его позвать папу, а он в рев пустился,— сказала Савринисо.

Бабушка прикрикнула на нее:

— Что, не могла соседского мальчишку послать!

Затем она достала что-то из длинного рукава платья и, лаская своего внука, глядя его по головке, отправила гулять на улицу.

Савринисо полила двор и приготовила на сури место для гостей. Не зная, чем заняться, я вышел на улицу. На мосту, у поворота на большую дорогу, стояли мальчишки. Я подошел к ним. Они не чурались меня. Мы разговорились. Только почему-то, когда я говорил, они все смеялись и называли меня кишлачным. Потом я понял: оказывается, я все время окал, а они акали. Например, если хлеб я называл «нон», то они — «нан»; если слово «мальчик» я говорил «бола», то они — «бала». Это я понял потом, а тогда никак не мог разобраться, почему они дразнят меня кишлачным. Я ждал, что Гаффарджан сейчас скажет им: «Этот мальчик наш родственник!» А он даже не позвал меня с собой, когда ребята собрались пойти играть на соседнюю улицу.

Я вернулся во двор. Дядя уже был дома. Савринисо возилась возле очага. Все остальные сидели на сури и о чем-то оживленно беседовали. Речь велась о предстоящей свадьбе.

— Мать ее, бедняжка, все ждет, не может спокойно умереть,— сказала бабушка дрожащим голосом.— Как ни зайду к ней: «Свадьбу когда сыграете? Пока жива, хочу свадьбу дочери увидеть!»... Да я и сама все дряхлею. В свое время ко многим на свадьбы ходила. Хоть и не знаю, кто что принесет в подарок, но надежды у меня немалые. То, что собственными руками отдавала, хочу собственными руками и заполучить.

Легли спать поздно. Савринисо спала рядом с больной матерью.

Бабушка с Гаффарджаном и дядей расположились в новом доме. А нам постелили во дворе на сури. Папа с мамой долго не могли заснуть. Лежали и о чем-то шептались. И мне не спалось. Я прислушался:

— Не лежит у нее душа к Азиму,— сказала мама, вздохнув,— утром прильнула она ко мне на кухне и долго плакала.

Я понял, что речь идет о Савринисо.

Пана рассердился и стал ей выговаривать;

— В своем ли ты уме! Когда-нибудь ты слышала, чтобы девушка вышла замуж за любимого? Или слышала, чтобы какая-нибудь девушка не вышла за нелюбимого? И невесты такой не сыскать, которая бы, уходя из родительского дома, не плакала!..

На следующее утро к дяде Абдурахману пришли в гости две мои тетушки. Мама вдруг набралась смелости и при них, обращаясь к дяде, сказала:

— Савринисо только шестнадцать лет исполнилось, может, повременить с ее замужеством, хотя бы годик-другой?

Смелость моей мамы пришлась отцу по душе. Он хотел что-то добавить в ее поддержку, но дядя, не дав ему заговорить, закричал:

— А ты сама во сколько лет замуж вышла? Четырнадцати не было! Зачем же ты хочешь Саври старой девой оставить?

— Абдурахман уже решил все, и нечего теперь другим добавлять что-либо по этому поводу,— проворчала бабка.

Свадьбу назначили на пятницу, на восьмое число следующего месяца. Утром в проулке Савринисо с плачем бросилась моему папе в ноги, прося защитить ее. Папа как мог успокоил племянницу. «От судьбы никуда не уйдешь! Раз на роду тебе это написано. Не ты первая замуж выходишь, доченька!» — сказал он.

Мне захотелось посмотреть на этого Азима, который был причиной мучений и страданий бедной Савринисо, и я отправился в кузницу дяди. Азим оказался крепким, невысокого роста, широкоплечим парнем с узким лбом и большими глазами. По словам отца, он считался хорошим молотобойцем. Азим был заикой, но, несмотря на это, любил шутить, острить. Когда Куляля, сраженный его остротой, не растерялся и сказал: «Пока вы произнесете мое имя, моя мать сможет родить еще одного Кулялю», Азим не обиделся, а, наоборот, схватившись за живот, долго хохотал.

Когда дядя был у нас в Яйпане, он обещал до нашего приезда подыскать нам какой-нибудь домишко, но ничего подходящего пока не

присмотрел. И потому до того, как мы снимем дом и найдем помещение для кузницы, мои родители решили пожить у дяди, тем более надо было готовиться к свадьбе Савринисо. Папа все эти дни помогал брату. Я стал скучать от безделья. Мальчишки не водились со мной, а Гаффарджан, возвратившись из школы, только и знал что дуть в дудку, до тошноты надоедая всем. Потом убегал на улицу и на болоте убивал лягушек. Единственным человеком, который уделял мне внимание, когда находилось свободное время, была Савринисо.

Как-то отпросившись у бабушки, она взяла меня с собой к тете, что жила за угольным базаром. Тетя дала мне и своей дочери Мукар-рам деньги и отправила нас вдвоем на Гишткуприк покупать мороженое. Гишткуприк был за базаром, где продавали уголь. По дороге туда мы видели верблюдов, груженных тяжелыми мешками с углем. Но особенно мое внимание привлекали бакалейные лавки, полные разных съедобных вещей в красивых блестящих обертках. Видели прокаженных, сидевших по обе стороны моста с деревянными тарелочками для подаяний; гадалок, разложивших перед собой разноцветные камешки, и не заметили, как подошли к мороженщику. Маленький старичок поскреб ложкой в металлической посудине и, положив на блюда мороженое, воткнул в белые горочки ложки. Мы с удовольствием ели мороженое, слизывая его с кончика ложечки и подолгу обсасывая ее.

Когда мы вернулись обратно, я заметил, что лицо Савринисо опухло, глаза ее были красными. Наверное, плакала, подумал я. Она старалась казаться веселой, слушая мой рассказ о том, как мы ходили за мороженым, смеялась, будто я ей рассказывал действительно что-то смешное.

Теперь в дом дяди стали чаще приходиться женщины — близкие и дальние родственницы. Пришли и две мои тетки. Посовещались о чем-то с бабушкой и ушли втроем, накинув на головы паранджи. О чем они говорили, я узнал в тот же день вечером, уже находясь в постели. Мама рассказала папе, что женщины ходили к Банди-ишану ворожить, расположить Савринисо к Азиму. После этого, как я понял, Савринисо должна была пить воду из старого кувшина, горлышко которого было заткнуто ватой, и есть пищу только из бабушкиных рук. И еще ей не разрешалось перешагивать через порог дома, где были зарыты замороженные вещи.

Приближался день свадьбы, Савринисо ходила с опухшими глазами.

Сядет рядом со мной, обнимет меня и плачет.

А когда наступил новый месяц, мы с Гаффарджаном стали обходить родственников — приглашать их на свадьбу. Сходили даже к старшей сестре моего отца. Она жила далеко, в Айимкишлаке. Тетя обрадовалась и насыпала нам в тюбетейку грецких орехов. Мы с Гаффарджаном поделили их пополам. Вернувшись домой, я свои орехи отдал Савринисо. Она поцеловала меня в щеку и, присев на пороге нового дома, сняла с ноги кавуш и стала каблуком колоть орехи. Одно ядрышко себе в рот положит, а два — мне. Когда мы перекололи все орехи, Савринисо обняла меня, и мы сидели молча. Я положил го-

лову ей на колени, и она, качаясь из стороны в сторону, запела какую-то грустную песню. На лицо мне упала теплая слеза. Со стороны станции слышались гудки паровозов. Савринисо была задумчивой и грустной. Она тихо сказала:

— Поезд меня зовет!.. Зови!.. Громче зови, паровоз!.. Увези меня в далекие края!

Вдруг совсем рядом, над самым ухом, мы услышали громоподобный голос дяди.

— Куда он тебя увезет?! — крикнул он и схватил Савринисо за руку, но она вырвалась и убежала в комнату.

Я едва успел отскочить в сторону. Дядя бросился за ней. Из дома послышался крик Савринисо: «Пана! Паночка! Не надо! Не бейте меня!» — умоляла она. Савринисо кричала и звала на помощь, потом послышались стоны, и наконец все стихло. И тут я услышал голос бабушки:

— Хватит, сынок, меру надо знать! Отругай, припугни, но нельзя же так избивать!

Я стоял иод окном и дрожал от страха. Из комнаты вышла мама. Заметив, что я чем-то напуган, подбежала ко мне. Она побрызгала мне в лицо водой из кувшина и спросила, что случилось. Не успел я рассказать ей о том, что произошло, из дома вышел дядя и, сделав знак маме, чтобы она вошла к Савринисо, надел слетевший с ноги кавуш и вышел на улицу.

Я вошел следом за мамой. Савринисо, бледная, с закрытыми глазами, лежала в углу комнаты у ниши. Мама дрожащими руками вытаскивала из ниши одеяло, растелила его и перенесла тяжело дышавшую Савринисо на постель. От побоев на руках и лице ее виднелись синяки. Савринисо чуть слышно стонала.

— Не беспокойся, не умрет, заживет все до вечера,— сказала бабушка, поправляя сползавший с головы платок.— Смотри подружке ничего не говори!..

К вечеру Савринисо стало совсем плохо. Она вся горела. Мама ни на шаг не отходила от нее. В комнату меня не пускали. Я стоял под окном, изредка заглядывая в приоткрывающуюся дверь, почему-то надеясь, что Савринисо позовет меня. Мне казалось, что сейчас она встанет, засмеется и скажет: «Вот как здорово я вас всех обманула!»

Вечером пришли с работы папа с дядей. Папа вошел в комнату, наклонился к Савринисо и тихонько дотронулся до ее плеча — она чуть приоткрыла глаза, но при слабом свете керосиновой лампы не узнала его. Видно, у нее и сил-то не было вглядываться в моего папу. Она снова закрыла глаза. Папа вышел во двор. На пороге, виновато склонив голову, сидел дядя. Спросил: «Ну, как она?» Папа прошел мимо него, ничего не ответил.

Савринисо металась в жару, бредила. Никто из взрослых ночью не спал. Все ходили на цыпочках, разговаривали шепотом, боясь, как бы не почуяла недоброе мать Савринисо. Ближе к утру дядя под каким-то предлогом отнес на руках свою больную жену в дом Абдура-Ззакасаножника. Никому не хотелось, чтобы мать и дочь хоронили в один день. Савринисо, словно догоравшая свеча, медленно угасала на наших глазах. Она смотрела на всех таким жадным взглядом, словно хотела запомнить нас. Вскоре ее не стало.

Когда труп обмыли и положили на носилки, среди женщин, пришедших на поминки, прошел слух, будто правый бок у девочки весь в синяках,— видно, сильно ударились обо что-то. Кто понял, а кто и не понял, отчего у нее бок в синяках, но казан с догадками так и остался закрытым — слухи дальше не поползли.

Потом носилки с телом, завернутым в саван, подняли и понесли. Мой дядя вдруг покачнулся и без чувств рухнул на землю. Его унесли домой. Он заболел и не встал на ноги ни на седьмой, ни на двадцатый день поминок.

Через несколько дней после похорон Савринисо из дома Абдуразака-сапожника перенесли жену дяди. После долгих подготовок бабушка сказала ей, что внезапно умерла Савринисо и ничем нельзя было помочь бедной девочке, такова, значит, воля божья.

Больная, от которой остались кожа да кости, широко раскрыла глаза и, высунув побелевший язык, облизала сухие губы. Она ни слова

не произнесла, только я заметил, как две слезинки скатились по ее лицу. Мать Савринисо не кричала, не плакала, у нее не было сил для этого.

Бабушка стала утешать ее:

— Доченька, бедняжка, девочкой от нас ушла. На том свете станет гурией...

Проходили дни. И снова черная туча не обошла стороной дом дяди. Слух, который распустила обмывавшая труп женщина, обошел кишлак и теперь мог дойти до миршаббаша — начальника полицейского управления. Я слышал, как отец говорил уста Хамиджану:

— Если эти разговоры дойдут до миршаббаша, плохо дело обернется. Законы у русских строгие. Когда в Яйпане на мясника наехала арба, из города приезжало около двадцати следователей. Два дня не позволяли убрать труп с дороги. Всех поочередно допрашивали.

Уста Хамиджан оказался из робкого десятка. Услышав такой разговор, он, как испуганный петух, вытянул шею и заморгал глазами. Папа и уста Хамиджан ничего не говорили о своем беспокойстве больному дяде. Они пригласили на совет уста Арокула и уста Юнуса. Бабушка и тут успевала сунуть свой нос, никому не давая высказаться:

— Смотрите, стараясь скрыть дело, не проболтайте сами кому-нибудь. Бог даст, все будет в порядке. Эти сплетни дальше нашей махалли не пойдут, у моего сына врагов тут нет.

И все же необходимо было найти человека, который хорошо знает законы. И такой человек нашелся. Им оказался Темирбай-бакалейщик из нашей махалли. Он три года назад судился с кем-то и даже дошел до высшего судебного разбирательства — съезда судей. Уста Хамиджан поговорил с ним. Оказывается, Темирбай-бакалейщик уже был в курсе дела и не заставил себя долго ждать с ответом. «Раз нет истца, никакой речи о суде быть не может! Никто не захочет заниматься таким делом!» — сказал он.

Истца, конечно, не было.

Через сорок дней после похорон Савринисо пропал Азим-заика. Где только не искали его! Кто-то из наших знакомых сказал, что встречал Азима в махалле Шалдирамак. Он катил впереди себя тачку, в которой лежало ватное одеяло, подушка и какие-то вещи. Знакомый спросил его:

— Далеко путь держишь, Азимбай?

На что тот ответил:

— Эх, лучше не спрашивайте! Видите, до чего докатился я!

После этого никто его не видел.

Вез Савринисо двор наш опустел, стал скучным и тихим. Я часто вспоминал ее: то как она колола мне орехи; то как лежала в углу у ниши и тихо стонала; то как несли ее в саване на носилках и они раскачивались из стороны в сторону, а мне слышалась мелодия песни, которую часто напевала Савринисо.

Как-то я сидел на мостике через речку, свесив вниз ноги. Ко мне подсел Гаффарджан.

— В прошлом году папа возил меня в Шахимардан. По дороге туда есть высокая гора, и если, проезжая мимо нее, крикнуть: «Эй- эй-эй, сорок девушек!», из горы отвечают гурии: «Эй-эй-эй!» Савринисо тоже теперь с ними, бабушка мне так сказала. Скоро мы снова поедem в Шахимардан, папа обещал свозить.

«Вот бы и мне туда попасть,— подумалось мне,— я бы обязательно позвал гурий, и они б ответили мне хором голосов, и среди них я узнал бы голос Савринисо».

Дядя вскоре понравился. И мама выплакала у папы согласие переехать куда-нибудь в другое место из дома его родных. Я страшно был рад этому, потому что в последнее время я почему-то стал бояться дядю, его длинной, клинышком, бороды, почерневших, сморщенных рук и даже его старых кавушей.

Мы перебрались в двор Ак-домлы. Мама обещала изредка навещать дядю и его больную жену. А пока все хозяйские дела в доме легли на дочь Абдураззака-сапожника, Амину.

ВСЕВЫШНИЙ

Мы стали жить у Ак-домлы. Половина лба и вся шея у него были покрыты белыми пятнами — следами болезни, которую называют ложной проказой. За эти белые пятна и прозвали его «Ак» — «белый». А почтительное «домла»— «учитель, ученый» — добавилось потому, что он умел читать молитвы и заклинания: в квартале нашем безоговорочно верили в их силу.

Двор Ак-домлы был большой и запущенный. Часть дома он перестроил для себя и отгородил дувалом, а в обветшалой пристройке в дальнем конце двора до нашего приезда было помещение, где жили двое сумасшедших, которых Ак-домла лечил молитвами.

Теперь в этой маленькой пристройке, где раньше жили закованные в цепи и привязанные к балке сумасшедшие, поселились мы.

Сумасшедших, перед тем как мы переехали, перевели в другой конец двора, в конюшню.

На второй день после нашего приезда, днем, когда папа ушел в кузницу, я услышал со стороны конюшни какой-то страшный, ни на что не похожий рев и побежал смотреть, что там делается.

Возле конюшни стоял молодой, дюжий парень и, высоко взмахивая палкой, бил ею по очереди двух людей, привязанных к столбу. А хозяин нашего двора, Ак-домла, сидел на корточках на маленьком коврике и, низко, к самым коленям, опустив голову, покачивался в такт молитве. Потом поднимал голову и изо всей силы дул в сторону сумасшедших, изгоняя вселившихся в них злых духов.

Один из сумасшедших стоял, покорно подставив спину, и даже не вздрагивал, когда палка со всего маху обрушивалась ему на плечи. А второй при каждом ударе ревел громче верблюда.

Это продолжалось до тех пор, пока палка не обломилась. Ак-домла, допев молитву, провел руками по лицу, встал, отряхнул коврик от пыли, сложил его пополам, взял его под мышку и не спеша пошел домой.

Потом я узнал, что Ак-домла каждое утро, после возвращения из мечети, заставляет бить этих сумасшедших, и в это время молится и дует на них. Но тогда, увидев это в первый раз, я очень испугался. И еще больше испугался, когда, обернувшись, увидел маму. Она стояла сзади меня молча, совсем бледная.

Вечером, когда папа вернулся из кузницы, мама рассказала ему о том, что мы видели, и стала просить, чтобы мы переехали отсюда. Но папа, как ни искал, все никак не мог найти другого дома.

А тут задули осенние кокандские ветры с их то кошачьим, то волчьим завыванием. Перед нашей пристройкой не было ничего — ни террасы, ни навеса, дверь открывалась прямо во двор, и стоило чуть приотворить ее, как внутрь врывался ветер, такой сильный, что он готов был сорвать с земли и унести все четыре стены.

Через несколько дней, несмотря на крики сумасшедшего и на сквозняки в нашем дырявом доме, мама, сначала так торопившая папу с переездом, вдруг раздумала и стала говорить:

— Хорошо, переезжаем здесь, а там — как будет угодно аллаху.

И даже меня подговаривала:

— Скажи папе, что не надо переезжать отсюда, что нам и здесь хорошо.

Я сначала не мог понять, почему она так стала вдруг говорить. А потом узнал почему: дядя, папин брат, от которого мы уехали, все еще не выздоровел, и его жена по-прежнему сильно болела, и бабушка — папина мать — решила жить не у дяди, а у нас.

Бабка уже перешла бы к нам, ее никто не мог бы остановить, но ей не хотелось перебираться глядя на зиму в такой маленький, неудобный и холодный дом, и она ждала, когда мы переедем в дом получше.

Когда выпал и стаял снег, а потом выпал еще, мы все-таки переехали к Мукиму-бува из нашей же махалли. У деда Мукима был маленький дворик; в одной половине этого дворика — низкая и темная комната, а в другой половине — пристройка, в которой мы поселились. Папа вкопал посреди дворика два столба и отгородил нашу часть двора плетенкой из камыша.

У Мукима-бува не осталось ни одного черного волоса: он был весь седой. С утра он заходил к себе в ткацкую и работал там до самого вечера, а иногда и ночью. Он ткал холсты, и оттуда, из ткацкой, доносились постукивания станка: така-тук, така-тук — да изредка негромкий голос самого деда Мукима: «Слава аллаху!»

Жена деда Мукима, Тохта-хола, была очень похожа на своего мужа — такая же седая и такая же тихая, как он. Когда мы переехали, она в первый же день пришла и принесла нам плов. Мы были не кокандские, а приезжие, из кишлака, а она считала людей, которые живут не там, где они родились, бездомными и жалела, что аллах обошел их счастьем. Но я слышал, как она говорила маме, что зато после смерти, на том свете, все слезы, пролитые бездомными на чужбине, жемчугом посыплются им в подол.

Но тетушка Тохта подружилась с мамой не только потому, что жалела бездомных, их сближало общее горе: у мамы из всех родившихся у нее детей остались только я и моя сестренка Ульмасой, и у Тохты-хола теперь только две уже замужние дочери, а пять дочерей и четверо сыновей умерли маленькими. Тохта-хола, вспоминая свою судьбу, сочувствовала моей маме, но для разговоров у нее оставалось мало времени: дед Муким с утра до ночи постукивал своим ткацким станком, а Тохта-хола целыми днями и вечерами все пряла и пряла пряжу. И только когда наступили самые холодные дни зимы, она стала чаще заходить к нам, чтобы погреться у нашего сандала, в котором

жарко и душисто горели угли, выжженные из пахучей арчи.

Однажды поздно вечером к нам пришел дядя с Гаффарджаном, вздохнул и сказал слова, которых все в нашей семье давно ожидали: «Аллах забрал то, что должно было возвратиться к нему».

Значит, тетя, так долго болевшая и такая слабая, что у нее последнее время не было сил ни глубоко вздохнуть, ни заплакать, умерла...

Дядя и отец ушли, а Гаффарджан улегся и заснул. Он, видно, свыкся с тем, что его мать так давно болеет и должна умереть, что даже не плакал сегодня, когда она умерла, — сразу заснул.

Утром мама тоже ушла туда, в дом к дяде, и осталась там. Днем папа принес нам с Гаффарджаном откуда-то обед, а вечером привел к нам в дом бабушку, постелил ей постель около сандала, а сам снова ушел.

Мы с Гаффарджаном думали тоже накрыться теплым одеялом, лежавшим на сандале, но бабушка, как только легла, стянула все одеяло с сандала на себя. Я постелил нам с Гаффарджаном отдельно, и мы с ним заснули, прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Ночью Гаффарджан проснулся и попросил пить. Из темноты донесся недовольный голос бабки: «Умри, несчастный! Кто тебе сейчас принесет воды?! Лежи с открытым ртом, и пить расхочется!» Я пожалел Гаффарджана, встал и принес ему воды.

Мама всю неделю была в доме дяди, но каждый день приходила, чтобы сварить бабушке плов. У бабушки был свой собственный маленький казанчик, немного побольше тубетейки, и мама варила ей плов в этом казанчике. Бабушка выкладывала плов в миску и съедала все без остатка, сама, одна, никого не приглашала. Я заметил, что Гаффарджан даже не обращает внимания на это. По его лицу было видно, что он уже привык к тому, как ест бабушка.

Так они с Гаффарджаном остались жить у нас. Бабушка каждый день утром и вечером заставляла нас учить молитвы и ни за что не выпускала на улицу. Она рассказывала мне и Гаффарджану о загробных муках, о дне Страшного суда, об ангелах, о шайтанах и о разных других жителях потустороннего мира.

Я по-своему представлял все то, что она рассказывала. Ангелы мне казались большими бабочками. Гурии были похожи на мою двоюродную сестру Савринисо, но только они были с крыльями и летали. Шайтан был черный человек с копытами и с красным петушиным гребнем на голове. Духи — завернутые с головы до ног в белую материю покойники, но только они не лежали, а ходили. Джинны были тоже

похожи на мертвых людей, но все время прыгали на одной ноге. А бесы виделись мне большими черными жуками с человеческими лицами...

В один из вечеров бабушка долго рассказывала нам, что в какой из дней сотворил аллах. У меня так и не осталось в памяти, что в какой день он сделал. Но когда я вспоминал эти дни, мне казалось, что суббота похожа на пеструю паранджу, воскресенье — темно-красного, вторник — черного, среда — серого, четверг — желтого, а пятница — голубого цвета.

Гаффарджан раньше учился в школе при мечети, но, когда его мать умерла, дядя не велел ему ходить в школу. На двадцатый день после ее смерти бабушка вдруг вспомнила о школе и велела Гаффарджану снова ходить туда.

Дядя, хотя и отдал его в духовную школу, не собирался делать из него муллу. Он просто хотел, чтобы Гаффарджана не было полдня дома и бабушка отдыхала бы от него.

Школа была всего шагах в четырехстах от нас, но у дяди было так заведено, что кто-нибудь должен водить Гаффарджана туда. Раньше, когда была жива его старшая сестра Савринисо, это делала она или Азим-заика, а теперь заставляли меня.

Каждое утро бабка кричала на Гаффарджана и проклинала меня. Гаффарджан собирался в школу, хныча и обливаясь слезами, но, как только мы выходили из дома, надувал щеки и всю дорогу дул в дудку. Один раз, когда мы, опоздав к началу уроков, вошли во двор мечети, Гаффарджан испуганно остановился. По двору, заложив за спину руки, шел одетый в зеленый халат старик с белой острой бородкой.

— Это наш учитель Абдувахаб,— сказал Гаффарджан,— сейчас он меня побьет.

Старик с белой бородкой поманил нас пальцем, и, хотя Гаффарджан очень боялся, он опрометью побежал к нему. Потом старик подозвал и меня: я тоже подошел. Наверное, он побил бы Гаффарджана за то, что тот опоздал на урок, но, кажется, не захотел этого делать при мне.

— Почему ты опоздал? — спросил он Гаффарджана. И когда

Гаффарджан стал объяснять, что у него умерла мать, погладил его по голове.

Обрадованный, что ему на этот раз не досталось, Гаффарджан юркнул в школу, а старик заговорил со мною и сразу по моему говору понял, что я кишлачный. Он стал спрашивать, из какого я кишлака, а я, стыдясь объяснить ему, что мы бездомные, чувствовал, как у меня

горят щеки. Видя, что я стесняюсь ему ответить, старик не стал ничего больше спрашивать, и я выбежал со двора мечети.

Когда я пришел за Гаффарджаном, чтобы вести его домой, он спросил, о чем говорил со мной старик, и, услышав, что я ничего не ответил, сказал про старика, что он любит мальчиков из кишлаков и одного, которого зовут Мелибай, даже учит без денег.

Я шел домой вместе с Гаффарджаном и всю дорогу жалел, что не сказал старику про себя, из какого я кишлака. Может быть, он и меня стал бы учить без денег? Но пойти и сказать ему об этом постеснялся. А когда мы вернулись домой и бабка, как всегда, принялась ругать нас, я стал жалеть, что я не такой болтливый и шумный, как Гаффарджан, я бы тоже надоел бабушке, она пожаловалась бы папе и заставила его отправить меня в школу.

Мама уже давно вернулась из дома дяди, а бабушка все продолжала жить у нас. Как-то, отведя Гаффарджана в школу и вернувшись домой, я увидел, что мама стоит над очагом, вытирает лицо подолом и молча плачет. А бабушка сидит у сандала, крест-накрест закинув концы своего платка назад через плечи, совсем как летучая мышь, и, согнувшись, быстро-быстро перебирает четки. Как только я вошел, бабка сильным и страшным голосом, совсем не подходившим к ее хилому виду, закричала на маму:

— Иди почисти снег! Не плачь, говорю тебе! Пусть твои слезы сожгут твою голову!

Мама продолжала вытирать слезы.

— Как только снег перестанет идти, я сейчас же почищу,— сказала она.

Но бабка опять закричала:

— Откуда тебе знать, когда перестанет идти снег?! Это божье, а не твое дело!

Ссора между бабкой и мамой вышла из-за пиалушки чая. За неделю до этого дядя принес в подарок бабушке пачку хорошего чая, про который говорили, что фунт его стоит дорого. Бабушка спрятала этот чай себе под подушку и пила его только сама. Сегодня чай кончился. Бабушка заварила последнюю щепотку и, чтобы похвастаться перед мамой, какой хороший чай она пьет, и заодно уколоть тем, что дядя внимательнее к ней, чем папа, дала маме пиалушку чая. Когда мама выпила свою пиалушку, бабушка спросила:

— Ну, каков чай?

Мама уже много раз слышала, как бабушка хвалила свой чай, говорила, какой он вкусный и душистый, и, желая угодить бабке, похвалив и аромат и вкус чая, добавила, что он еще и очень сытный. Сказала, что чай ей показался таким сытным, как будто она съела целую косу пшеничной похлебки. Захотела угодить ей, а попала в беду!

— То-то оно и видно, что мой сын из захудалой семьи тебя взял,— сказала бабка.— Что ты понимаешь в хорошем чае, если сравниваешь его с похлебкой!

Но это было только началом неприятностей. Бабка разошлась и стала бранить маму за то, как она содержит наш дом.

— Ты не из тех бережливых жен, которые своими стараниями способны удвоить заработки мужа,— придиралась она к маме.— Откуда у тебя в доме может быть достаток, когда ты, если разбилось стекло от лампы, сразу покупаешь новое, вместо того чтобы заклеить старое бумагой и еще долго им пользоваться? Не жить мне на этом свете, если я не женю его еще раз, если не разведу тебя с ним.

Но бабке показалось мало и этого, и она начала проклинать не только маму, но и меня, и мою сестренку Ульмасой...

Сразу же после этой ссоры все, что можно было в доме сварить, прожевать и проглотить, бабушка сгребла и спрятала в свой сундук и заперла его на ключ. Даже пачку дешевого чая спрятала вместе с ключом под подушку и давала нам по одной щепотке.

С этого дня бабушка придиралась ко всему, что бы ни делала мама. Если мама ничего не отвечала ей, бабка все равно несколько раз на дню принималась ругать ее. Если мама вдруг, не выдержав, отвечала ей, бабка проклинала ее всеми, какие знала, проклятиями, а потом жаловалась папе и требовала, чтобы он побил ее.

Папа не хотел обижать маму. Иногда для вида он слушался свою мать, а иногда не слушался. Тогда бабка, разозлившись, начинала громко плакать и упрекать папу:

— Когда мать довольна — сам аллах доволен тобой! Жена другая найдется, а мать — никогда!

Я старался как можно меньше оставаться около бабушки. И днем, когда отводил Гаффарджана в школу, и вечером, после того как приводил его, я все чаще подолгу сидел у Тохты-хола. Тохта-хола клала передо мной пригоршню урюку, пряла свою пряжу и разговаривала со мной.

Однажды под вечер из Джарбулака приехал мамин брат, с которым

она не виделась четыре года. Папа вернулся из кузницы и, поздравившись с гостем, дал нам с Гаффарджаном деньги и послал нас за мясом — он знал, что дома не было мяса. Но бабка поймала нас с Гаффарджаном по дороге и отняла деньги. Потом отозвала в сторону папу и сказала ему:

— За эти деньги вон какой большой кусок мяса продадут! А зачем нам нужно мясо? Сварим кашу да поедим ее с кислым молоком. Это тоже неплохо, зачем еще мясо?

Мама услышала это, и, кажется, ее брат тоже услышал.

Бабка и перед обедом и после обеда все время сидела надутая, а потом, наверное, решив до конца испортить настроение и всем нам, и гостю, стала приставать к Гаффарджану:

— Сколько страниц ты прочел сегодня в школе, Гаффарджан?

Гаффарджан сказал, что они в школе сегодня ничего не читали.

— Что же вы делали в школе, если не читали? Чем же занимается ваш учитель? Что это за человек? Чтоб у него кровь изо рта пошла! Чтоб аллах сделал его слепым!

Бабка бранилась. Гаффарджан ревел. Настроение у всех было так испорчено, что гость встал и собрался уходить. Когда он ушел, мама вышла из комнаты и долго плакала.

Стали ложиться спать. Бабушка решила объяснить, почему она так плохо встретила маминого брата. Сначала она сказала папе, что брат мамы все равно для него никогда братом не будет, все равно он чужой человек, а чужой человек ничего хорошего в дом не принесет. Потом она сказала маме, что у ее брата нехорошее лицо. Мама ничего не ответила. Папа тоже молчал. Бабушка рассердилась на то, что они оба молчат. Она ждала, что мама в ответ на ее слова скажет: «Хорошо, мой брат больше не придет сюда», а папа станет поддакивать. Она рассердилась и стала громко рыдать, приговаривая, что моя мама совсем взяла в руки ее сына и повелевает им, как ей вздумается. Нарыдавшись так, что совсем потеряла голос, бабушка сказала отцу, что раз так — она уйдет от него к дяде. Но папа не отпустил ее.

У мамы, наверное, лопнуло терпение, и она через несколько дней после этого выбрала минуту, когда не было бабушки, и, плача, стала говорить пане:

— Опять мне по ночам мерещатся страшные черные козы. Это не к добру. Все-таки, когда мы жили у Ак-домлы, там было лучше. Это ничего, что там рядом сумасшедшие, зато он мулла, он не даст, чтобы в

нас вселились нечистые духи. Когда мы там жили, мне черные козы не снились.

Но папа выругал маму:

— Не будь такой глупой. И потом, нам нельзя туда ехать. Акдомла, говорят, сам лежит больной...

Еще полгода назад я, как ни старался, не мог представить себе ни лица, ни фигуры того, о ком люди кругом меня постоянно говорили: «так захотел аллах» или «так угодно аллаху»...

Моего детского воображения никак не хватало на то, чтобы представить, какой же он из себя, этот бог, который на кого-то ниспосылал болезни, а кого-то избавлял от болезни, который сам давал людям детей и сам же их потом забирал, наделял мужчин и женщин временной жизнью и отнимал у них эту жизнь, а нас с папой, мамон и сестрой Ульмасой сделал скитальцами, бездомными, переезжающими из одного чужого дома в другой.

Но с тех пор как у нас поселилась бабушка, при слове «бог» у меня перед глазами появлялась бабка, сидящая у нашего сандала согнувшись и перекинув крест-накрест за плечи концы своего черного платка так, что походила на летучую мышь.

Папа очень страдал. Его сердце разрывалось надвое. Он не смел спорить с тем, что, «когда мать тобой довольна,— сам аллах доволен тобой», но и не мог равнодушно смотреть на мамины слезы.

Как раз в это время работы в кузнице было немного, но папа стал все позже и позже приходиться домой.

Одни раз вечером, наслушавшись криков бабки и капризов Гаффарджана, я убежал на улицу. Сначала просто стоял во дворе, хотя было холодно и шел снег, а потом побежал в кузницу. Кузница уже не работала, но мастера и подмастерья все собрались вокруг папы. Пана сидел посередине под тусклой висячей лампой и читал вслух книгу. Я присел в темном уголке, и меня никто не заметил.

Я раньше не знал, что мой папа грамотный, узнал только сейчас, здесь, в кузнице. Книга была интересная, в ней описывались приключения каких-то разбойников.

Папа кончил читать, и сидевшие в кузнице люди заговорили о своих делах, а я вернулся домой и рассказал маме о том, что видел и слышал. Мама, оказывается, знала, что папа грамотный, и рассказала мне, как он научился читать. Папа в молодости очень любил книги, хотя и не умел читать. Но однажды ему приснилось, что пророк Хызр

дал ему прочесть несколько строк из какой-то книги, а потом вырвал из книги весь этот лист и заставил папу съесть его. А наутро папа проснулся грамотным.

Я попробовал пересказать маме ту историю про разбойников. Она с интересом слушала меня, даже переспрашивала, а когда папа вернулся, почтительно, но с обидой в голосе сказала ему:

— Я все думала, почему вы стали поздно приходиться домой?.. Оказывается, вы нашли себе забаву.

Мама так произнесла эти слова, что даже мне стало понятно, в чем она упрекает папу: «Отраву, которую наливает нам в пиалы твоя мать, мне приходится пить одной». Я понял маму, а папа прикинулся непонятливым. Он сказал, что подолгу сидит в кузнице, потому что беспокоится, все ждет работы, а хорошей работы все нет и нет. И добавил, что в кишлаке жить было лучше.

Мама даже вскрикнула от радости:

— Давайте уедем отсюда в кишлак! В городе, кроме воды, все покупаем! В кишлаке не так было!

Бабка, узнав об этом разговоре, подняла крик на весь двор и грозила избить маму.

— Такую, как ты, аллах создал, чтобы разлучить мать с сыном! Ты приворожила моего сына к себе, проклятая! — кричала она.

Но одного крика ей было мало; она решила проклясть мою маму самым страшным проклятием — сидя на венике. Сложив руки ладонями наружу, она села на веник и начала свои проклятия. Сложит руки, проклянет, потом разнимет, отдышится, снова сложит и снова начинает проклинать. И каждый раз мама так рыдала, словно эти проклятия вот сейчас же, тут же настигнут и ее и нас с Ульмасой.

Она рыдала и прижимала нас к себе. А папа, хотя ему было тяжело на все это смотреть, стоял молча и не сказал своей матери ни одного слова.

Наша жизнь во дворе деда Мукима началась горем и кончилась горем. Моя сестра Ульмасой вдруг заболела, и отец и мама перестали говорить о переезде в кишлак. Даже бабка немного притихла. Уже давно перепуганная болезнями и смертями своих детей, мама теперь, когда заболела Ульмасой, не знала, что делать и куда деть свою тревогу. Она совсем извелась и стала сквозь слезы покрикивать и на папу, и даже на бабушку. Этого никогда не бывало с ней раньше.

Бабка твердила, что Ульмасой заболела оттого, что наша мама

злосчастная, что на маме лежит заклятье, но все-таки, несмотря на это, пошла за табибом, чтобы он попробовал вылечить Ульмасой.

Знахарь пришел вечером, отстегал Ульмасой тонким прутиком, выводя из нее наружу болезнь, потом зарезал у нас во дворе черную курицу и измазал Ульмасой куриной кровью.

В нашей махалле жил Банди-ишан. Он славился тем, что хорошо читал молитвы, и к нему во двор, чтобы послушать утреннее чтение, всегда приходило много Женщин, надеявшихся, что молитвы благочестивого человека помогут им в их семейных делах.

Мама стала каждое утро носить туда Ульмасой... Ульмасой умерла на руках у мамы, пока мама слушала молитвы. Мама принесла ее домой уже холодную. Когда я вошел во двор, мама, обхватив голову руками, стояла, прислонившись к косяку, а рядом стоял дядя и утешал ее.

Днем соседки унесли с нашего двора носилки, на которых лежала моя сестра. В доме стало тихо-тихо, как на кладбище. Не слышно было ни бабки, ни капризов Гаффарджана.

Мама больше не заговаривала о переезде в кишлак. Но, оказывается, папа сам все время думал об этом, и, когда кончились холода, на заборах заворковали горлинки, а иод заборами начали квакать лягушки, папа пришел и сказал:

— Есть еще на свете добрые люди. Скоро переедем в кишлак Кудаш. Там и дом для нас есть, и кузница будет!

У дяди был знакомый, Туракул-нерекушчик. Оказывается, этот человек, узнав, что папа хочет переехать куда-нибудь в кишлак, обещал найти для нас дом и сарай под кузницу. Там, в Кудаше, им нужен был кузнец. Папа успел побывать там.

Как только бабушка узнала о нашем переезде и поняла, что ей теперь уже ничего не переменить, она забрала от нас Гаффарджана и ушла обратно к дяде.

За день до нашего отъезда мама, взяв меня с собой, пошла прощаться с бабушкой.

Мама была рада, что мы уезжаем, но, прощаясь с бабушкой, чтобы соблюсти приличия, сказала надломленным голосом:

— Почему вы с нами не едете?

И хотя я знал, что это говорится просто так, из приличия, но все-таки не удержался и толкнул маму в бок: боялся, а вдруг мама еще раз повторит эти слова и бабка в самом деле поедет с нами!

Урюк отцвел, и мы переехали из Коканда в Кудаш.

ТУРАКУЛ-ПЕРЕКУПЩИК

Улицы в Яйпане широкие, лавок и мастерских много, на базарной площади даже карусель есть; на деревьях клетки с перепелками висят, и везде слышно, как целыми днями поют птицы. И хотя улицы в Кудаше были узкие и кривые, кишлак этот мне понравился больше, чем Яйпан. По обе стороны дороги, за полуобвалившимися дувалами, дружно цвели деревья. Мне показалось, что кишлак похож на большой цветущий сад. Куляля на ходу спрыгнул с арбы, подбежал к урючине и, пригнув ветку, нарвал зеленых плодов урюка. Он угостил ими нас. Плоды были маленькие, не больше семени хлопчатника, но, когда я попробовал, от них исходил нежный аромат, будто кто-то нарочно взял и запер в эти зеленоватые плоды весну.

На улице ни души,— должно быть, все в поле. Стоит такая тишина, что слышно, как щебечут птицы, скрипит колесами наша арба, стучит копытами лошадь да звенят удила. Проехав под большим развесистым карагачем мост, заросший дерном, арба повернула налево, к песчаному берегу арыка, и остановилась под старым тополем, на ветках которого оглушительно чирикали воробьи.

Тут и был двор Туракула-перекупщика, у которого мы должны были теперь жить. Самого хозяина дома не оказалось, и нас встретил сосед, которого Гуракул успел предупредить.

Дом, в котором мы поселились, прежде был конюшной, потом его перегородили, в темной комнате пробили окно, а в другой части, выходящей на улицу, пробили дверь, и папа решил использовать это помещение под кузницу.

Пока мы сгружали свои вещи, откуда-то появился Додарходжа, брат Куляли. Оказывается, еще зимой он ушел от Артыка-аксакала, переехал в Кудаш, где устроился работать на маслобойню. Услышав от людей, что в кишлак едет кузнец, он разыскал нас. Додарходжа помогал нам выгружаться. Затем папа с Додарходжей построила очаг и дымоход, установили наковальню и укрепили мехи; в жилой комнате на пол постелили солому.

Вечером к нам заглянул высокий худой старик. Это и был Туракул-перекупщик. Ходил он, осторожно щупая ногами землю, словно боялся упасть и рассыпаться на части, брезгливо морщился и говорил в нос, рот его был все время полуоткрыт. Войдя в кузницу, он поздоровался с

отцом и, больше ни слова не сказав, ушел к себе. Через несколько минут старик пришел к нам с подносом, на котором лежали две лепешки и стоял чайник чая. Сидел он у нас недолго. А перед уходом достал откуда-то кошелек, к завязкам которого были пришиты две бусинки от глаза, и, стараясь, чтобы никто не видел, согнулся и стал отсчитывать деньги; он протянул отцу несколько синих бумажек:

— Знаю, вы очень нуждаетесь! Вот, получите задаток за восемьдесят серпов. Большого от вас за эти деньги не требую!

Папа, обрадованный, не пересчитав денег, сунул их за пояс.

Когда Туракул ушел, Додарходжа покачал головой:

— Зря вы у него взяли деньги, уста Абдукаххар. Смотрите, чтобы он не обманул вас! Этот человек сущий дьявол. Он и с мертвого семь шкур сдерет!

Папа только усмехнулся его словам.

Но Додарходжа знал, что говорил. Туракул приходил к нам каждый день или через день но утрам и вечерам, все так же брезгливо морщась, и говорил: «Абдукаххар, если есть у вас мелкие деньги, дайте немного в долг» или «Пусть Куляля отнесет ко мне домой то-то и то-то, потом с вами сочтемся». Так как он всегда просил какую-нибудь мелочь, отказать было неудобно, ну а после того, как он получал то, что ему надо, просить обратно было неловко. Кажется, папе надоело все это, и он, съездив в город, купил на все деньги угля и железа, хотя всего этого у него хватало, только для того, чтобы избавиться от заказа Туракула. Потом стоило появиться старику, как папа начинал сетовать на то, что у нас нет денег. И вправду, после этого Туракул перестал просить у нас чего-нибудь по мелочам, но нашел другой ход. Еще чаще, чем прежде, захаживая в кузницу, он требовал срочно сделать ему то топорик, то кетмень. Папа давно уже потерял всякое терпение, но отказывать Туракулу не смел. А Куляля, улыбаясь, напоминал нам: «С мертвого семь шкур сдерет!..»

Папа, чтобы скорее выполнить заказ Туракула и сделать ему восемьдесят серпов, а заодно наделать их побольше и для себя, пока дехкане не приступили к уборке ячменя, трудился в поте лица с рассвета до позднего вечера. Когда папе с Кулялей становилось тяжело работать, я помогал им качать мехи. Так целыми днями я сидел в кузнице.

Папа, получая от старика задаток за восемьдесят серпов, рассчитывал на то, что Туракул будет забирать часть их, оставляя нам два-

три серпа для продажи. Но Туракул каждый вечер забирал все, что было сделано за день.

Дехканин на базаре в эти дни спрашивал только серпы — надо было срочно косить ячмень, клевер, пшеницу. Так что к папе шли только с таким заказом. Когда Туракул как-то вечером пришел за своими серпами, папа осторожно выразил недовольство.

— Весь ваш задаток ушел на уголь и железо, если один-два серпа не оставите мне для продажи, семье моей нечего будет есть.

Туракул удивленно вытаращил глаза и прогундосил:

— Может быть, мне еще пять-шесть таньга дать вам?

— Нет уж, благодарю,— сказал папа,— дайте мне лучше возможность рассчитаться с вами... Один-два серпа оставляйте мне для продажи, и этого будет достаточно.

Туракул крепко перевязал рогожку с серпами веревкой и недовольно проворчал:

— Что же тогда получится?.. Когда это я в таком случае получу свои восемьдесят серпов и когда их продам? Если что мне и достанется от продажи серпов, так это только в сезон, а в другое время никакой мне пользы продавать их. Сами подумайте, где же справедливость! Я вам синеньких бумажек вон сколько отсчитал, не задумываясь вы их взяли. Базар мне синенькими не платит. Перепадает, когда аллаху это угодно. А мне больше ничего и не надо.

Папа попробовал отшутиться:

— Может быть, мне вернуть ваши синенькие бумажки?

Туракул рассердился:

— Вы отказываетесь от данного обещания? Уговор дороже всяких денег. Хорошо! Если вы отказываетесь от обещания, мы с вами будем разговаривать по-другому!

Папа смолчал. Но это молчание было страшнее открытого гнева.

Может быть, потом Туракул пожалел о том, что так грубо разговаривал с папой, ведь недаром говорят: «Не трогай голодного, не трогай раздетого». Туракул все же стал оставлять нам по одному серпу.

После этого папа с Кулялей стали работать и по ночам, чтобы хоть что-нибудь подработать себе. Куляля продавал оставшиеся серпы на базаре. Однако старик, поймав его как-то, отобрал у него два серпа и надавал пощечин. С плачем возвратился Куляля домой. Папа ничего не сказал Туракулу, но по выражению его лица я понял, что папа не простит старику этого. Гнев отца был поистине страшным.

Вечером к нам пришел Додарходжа, расспросил у Куляли о том, что произошло, и, взяв за руку упиравшегося брата, потащил его к Туракулу. Додарходжа настойчиво постучал в дверь. Туракул подал голос и через некоторое время сам открыл калитку. Увидев Додарходжу, он испуганно застыл на месте. Додарходжа толкнул брата в шею, и тот упал на колени перед Туракулом.

— Бей, подлец! — сказал Додарходжа, указывая на брата.— Убей его!

Туракул с беспокойством оглянулся по сторонам и невольно крикнул:

— Уста Абдукаххар!

Хотя папа и слышал, как Туракул звал его на помощь, но вида не подал и из комнаты не вышел.

Схватив старика за ворот чапана, Додарходжа тряхнул его так, что Туракул перекувыркнулся в воздухе и шлепнулся на спину. Он с трудом поднялся на ноги и закричал что есть мочи:

— Уста Абдукаххар! Эй, мусульмане! Есть хоть кто-нибудь?!

Тут прибежал на помощь мой папа и, схватив Додарходжу за руки, потащил его к калитке. Туракул поспешно забежал к себе и изнутри запер дверь на замок. А папа, ругая Додарходжу, повел его на улицу.

Два дня не выходил Туракул из дома, а на третий день папу вызвал к себе староста кишлака, отругал его и сказал: «Как же вы позволили избивать старого человека? На сей раз прощаем, но впредь будьте осмотрительнее, а не то мы на вас найдем управу». Папа хотел объяснить все старосте, но тот даже не стал слушать его. Потом мы узнали, что Додарходжу в сопровождении караульщика выслали из Кудаша.

Староста кишлака простил папу, но простил ли его Туракул, мы не знали. Обеспокоенный тем, что произошло, папа решил не рисковать и найти другой дом, куда бы мы могли переехать. Но никто не хотел давать приюта пришельцу, который позволил избивать пожилого человека.

В пятницу, собрав накопившиеся за последние дни серпы, папа сам поехал продавать их на базар в Яйпан. Он надеялся найти нам в Яйпане какой-нибудь домишко.

Куляля сидел целый день в кузнице. Я же, выйдя со двора, пошел бродить по пыльным улицам кишлака. Заглянул в чужой сад и нарвал там урюка. А потом сел на мосту, свесив вниз ноги, и ел урюк. Откуда-

то изнутри у меня вырвался стон, и я сочинил печальную песню, слова которой были, примерно, такими: «Куда бы я ни приехал, везде чужой. Мальчишкой меня в игру не принимают». Напевая, я задремал, а когда открыл глаза, надо мной стоял мальчик намного выше меня ростом, который ножом стругал большую зеленую ветку черешни, сплошь усыпанную крупными ягодами. Спросонок я подумал, что это пришел хозяин сада, где я без разрешения нарвал урюк, и что он хочет меня отлупить, и протянул ему несколько урючин. Ни слова не говоря, мальчик взял урюк из моей руки и стал есть. Меня он не тронул, а узнав, что я сын кузнеца Абдукаххара, угостил меня целой горстью спелой черешни. Мы разговорились. Мальчика звали Халиком. Разговаривая, мы поднялись вверх по берегу речки. Халик, оказывается, давно мечтал поточить свой нож, но, так как денег ему брат не давал, он не мог этого сделать. Я пообещал ему поговорить с Кулялей и поточить нож. Когда мы переулками вышли к саду Туракула, Халик бросил ветку черешни под высокий дувал, как раз в том месте, где протекал арык, и заметив мое удивление, сказал: «Хайри возьмет». Хайри оказалась женой Туракула. Я ее ни разу не видел и даже не подозревал, что у Туракула есть жена. Уходя из дома, старик всегда запирает калитку на замок, а когда возвращался — закрывал на цепочку изнутри. Да и голоса ее никто не слышал. Арык, в который мы с Халиком бросили ветку черешни, протекал через двор Туракула, и Хайри, сделав запруду, вылавливала все, что ей переправляли.

Что делала жена Туракула там. взаперти, одна, мы представить себе не могли. Ведь она никуда не выходила. В тот же день, когда я познакомился с Халиком, я подошел к запертой калитке и прислушался. Было так тихо, что я слышал, как журчит вода в арыке, и блеет где-то в саду ягненок, и покрикивает какая-то птица. Я только хотел отойти, как за стеной послышались чьи-то шаги и какой-то звон. Взобравшись на высокое дерево, я заглянул через дувал — посреди двора, позванивая бусами и монетами, вплетенными в косички, маленькая девочка в длинном не по возрасту белом платье играла в мяч.

Я уговорил Кулялю поточить Халику нож, пообещав, что, если он это сделает, я раскрою ему одну тайну. И я рассказал ему о том, кого видел на соседнем дворе. Вечером из Яйпана возвратился папа. И как раз в тот момент, когда Куляля рассказывал моему папе об увиденном мной, из дома Туракула послышался крик. Мы выбежали на улицу, где уже успели собраться и другие соседи — женщины, старики, дети. Кто-

то из мужчин постучал в дверь. Хайри все кричала, и голос ее охрип от крика. Мужчина снова постучал в дверь и позвал Туракула. Ответа не последовало, только слышно было, как визжала и хрипела Хайри. Тогда один здоровенный мужчина из толпы стал ногами бить в дверь, но, так как она не поддавалась, мужчина крикнул:

— Туракул-бува, перестаньте, а не то мы взломаем дверь!

За стеной послышались шаги, загредел засов, и дверь широко распахнулась — на пороге, тяжело дыша и дрожа от гнева, появился старик. Не знаю как, но папа оказался в первом ряду стоящих. Старик сразу же накинулся на него:

— А-а, ты снова привел людей избивать меня? — И он бросился на папу с кулаками.

Папа отступил назад.

— Я не приводил людей. У каждого есть уши. Ведь вы можете убить чужого ребенка.

Тут в разговор вмешались соседи, стали что-то говорить старику, но Туракул их не слушал, а кричал моему отцу:

— Тебе-то что? Я же не твою жену избиваю. А если есть у тебя дочь, положи ее ко мне в постель, тогда и приходи! — Потом повернулся к толпе и спросил: — Кто тот смельчак, который хотел ворваться в мой дом?

Старик все шумел и всех подряд осыпал бранью. Тогда здоровенный мужчина, тот, что стучал к нему в дверь, подошел к Туракулу и, схватив его за пояс, приподнял над землей и отшвырнул в сторону. Туракул упал, ударившись головой о землю, и растянулся, как труп. Кто-то подбежал к нему и помог подняться на ноги. Держась за правый бок и за голову, Туракул вышел на улицу и что есть мочи стал кричать:

— Когда наконец мы избавимся от этого пришельца! Таджибай-амин, да будешь ли ты следить за своим народом? Таджибай-амин!..

Туракул шел по улице и всю дорогу орал. Чем дальше он удалялся от нашего дома, тем громче становились его крики.

Все притихли. Потом кто-то крикнул: «Бежим!» — и сам первый побежал. Люди расходились: кто веселый, кто грустный. Женщины ушли в дом Туракула. Папа подошел к мужчине, который кинул Туракула через себя, и, как бы упрекая, сказал:

— Зря вы так с ним. Теперь, вот увидите, мне одному влетит!

Но мужчина успокоил моего папу:

— Не бойтесь, уста Абдукаххар. Если вас вызовут к старосте, я

тоже с вами пойду!

Поздно вечером Таджибай-амин снова вызвал к себе моего отца. Папа сразу же дал знать об этом соседям. Во время скандала народу было много, а к старосте согласились пойти только восемь человек.

Одна из женщин, побывавшая у Туракула в доме, рассказала маме, из-за чего вспыхнула эта ссора. Оказывается, Туракул нашел во дворе несколько сломанных веток черешни и стал допытываться у жены, кто ее угостил. Хайри сказала ему, что ветки с черешнями она выловила в арыке. Но старик, не поверив, стал избивать ее.

Папа вернулся скоро. Староста даже не стал разговаривать с ним, никого из свидетелей не выслушал, а отцу сказал: «Немедленно убирайтесь из кишлака!» Папа, когда был в Яйпане, взял несколько таньга взаймы у своего старого знакомого кузнеца Турдыали. И теперь, имея деньги, тут же у старосты возвратил сидевшему с перевязанной головой Туракулу оставшийся от задатка долг и полностью рассчитался с ним.

Турдыали жил в Бувайди. В Яйпан, где его и повстречал папа, он приезжал по какому-то делу. Так вот, этот самый Турдыали расхвалил моему отцу свой кишлак, что он большой и что в нем много дворов, а кузнецов почти нет.

И тогда мои родители надумали переехать не в Яйпан, а в Бувайди. На следующий день, погрузив все свои вещи на арбу, мы отправились в путь. Папа, пока он отыщет нам дом и помещение для кузницы, решил нас оставить у дяди. Подъезжая к Коканду, я вдруг представил себе бабушку, дядю, и меня охватила тревога. Я тайком всплакнул.

АРБУЗНАЯ КОРКА

Оставив меня и маму у дяди, папа с Кулялей отправились в Бувайди.

Мама ходила на кладбище, на могилку Ульмасой, поплакать.

Дядя все никак не мог прийти в себя после болезни и тяжелой работы почти не делал. Он только точил ножи да изготавливал клещи, половники, серпы и всякие нужные в хозяйстве мелочи.

Бабушка же мечтала о хадже — паломничестве в святую Мекку — и каждый день, запираясь в своей комнате, читала молитвы. Гаффарджан все ходил в школу, играл на своей дудке и изредка, когда его заставляла бабушка, читал вместе с ней молитвы.

На наше счастье, мы недолго пробыли в доме дяди. Через три дня папа забрал нас.

Кишлак Бувайди оказался большим. Его главная улица начиналась с крутого торгового ряда, где были расположены чайхана, мануфактурные лавки и лавки кустарей-ремесленников. А дальше, по обе стороны широкой улицы, до самого конца ее тянулось бесчисленное множество больших и малых ларьков, где продавались кондитерские изделия, парикмахерских, пекарен, чайхан. В стороне особняком стоял хлебный базар. В конце улицы находился караван-сарай Ишанабува. В базарные дни дехкане близлежащих кишлаков, собираясь в Бувайди на торг, оставляли своих лошадей, ишаков в этом караван-сарае.

По левую сторону караван-сарая была новая постройка с террасой, перед которой через речку был перекинут мостик; по правую же сторону, там, где речка, огибая караван-сарай, текла в сторону кишлака, сооружен деревянный помост для того, чтобы усталые путники могли отдохнуть. Там всегда прохладно — большие развесистые ивы, как шатер, укрывали отдыхающих от солнечных лучей.

Дом, куда мы переехали, находился напротив караван-сарая, во дворе мечети. Маленький, почти игрушечный дворик пришелся по душе моей матери. Перед домом была терраса, выходящая прямо на улицу. Первая комната имела выход на террасу, а дверь второй комнаты, поменьше, полутемной, с небольшим отверстием в потолке для дымохода, откуда с трудом пробивался луч света, выходила во двор мечети и в сад. Садик был маленький — всего три плодовых дерева, несколько кустов винограда и клумба с цветами.

Мы все очень были рады новому дому.

Папа вскоре навел порядок в кузнице.

Сезон на серпы уже прошел, а до сезона на кетмени еще оставалось много времени. Папа терпеть не мог подковывать лошадей, но голод, говорят, не тетка, и он сделал специальное приспособление, что-то вроде стойла, и стал подковывать лошадей. Работа спорилась, видно потому, что кишлак был большой, и мы зажили хорошо. Однако случилась беда: из-за недосмотра хозяина лошадь лягнула папу. Сорок дней он не мог работать.

Куляля один с работой не справлялся. Да и что он мог делать? Только точить ножи да закаливать в огне тяпки. Мы с Кулялей забавлялись разными играми: то, нанося быстрые удары по проволоке,

лежащей на наковальне, старались накалить ее; то играли в орехи; то в альчики, предварительно залив в них свинец так, чтобы они вставали на ребро; то лепили из глины шарики, похожие на грецкий орех, или, завернув кусочек спичечной серы в вагу, делали пистоны. Любопытные соседские мальчишки целыми днями вертелись возле нас.

Не знаю, у кого Куляля научился этому, но однажды он показал всем удивительный фокус: налил в выеденную половинку арбуза пиалу воды, бросил в нее горящую бумагу и накрыл эту бумагу пиалой. Пиала с шумом втянула в себя воду. А ребята удивленно переглядывались — как могла бумага гореть в воде, а пиала обратно выпить всю воду? Кое-кто из ребят даже побледнел от испуга. Куляля показал этот фокус один раз. Как его потом ни уговаривали, он не повторил фокуса, а половинку арбуза выкинул в арык. На следующий день перед кузницей собралось вдвое больше ребят, кто-то даже притащил арбуз. Куляля принял приношение, но показал новый фокус. Он вытащил из замка, висевшего на двери, ключ, положил его на доску, пробормотал какое-то заклинание и дунул на него. Ключ вдруг пополз, словно кто-то оживил его. Все рты раскрыли от удивления. Ключ сдвинулся на целый вершок. И потом, стоило Куляле указать в какую-либо сторону пальцем и сказать «суф», ключ двигался в том направлении, куда ему указывали. Ребята, притихшие от страха и удивления, поглядывали на Кулялю, как на колдуна. Никому и в голову не приходило искать секрет этого фокуса. Никто из них не заметил большого магнита, который Куляля двигал другой рукой под тонкой дощечкой.

Я рассказал папе о фокусах Куляля, и он отругал его. Но слух о том, что Куляля умеет творить чудеса, уже облетел махаллю и вскоре весь кишлак. Фокус с ключом людей навел на мысль, что Куляля при помощи заклинания может открыть любой замок.

Если ученик способен на такое, то на что же способен сам мастер!

О Куляле быстро забыли, и все заговорили о моем папе. И чем сильнее он опровергал ложные слухи, тем больше верили в них люди.

Даже мама обиженно сказала как-то:

— Сколько, оказывается, знаний у вас, а скрывали. Сколько детей земле предали...

Папа, нахмутив брови, отшутился:

— Мои заклинания на меня самого не действуют.

Однажды, когда пана уехал в гости к своему другу Алилайлаку, к нам пришел мальчик с большим узлом. Следом за ним вошла женщина

в желтой бархатной парандже. Мальчик отдал узел маме и убежал на улицу. Женщина откинула с лица покрывало и горячо, словно старая знакомая, поздоровалась с мамой. Ее вид и то, как она красиво говорила, произвели на маму сильное впечатление. Она внимательно слушала гостью. Женщина была одета в атласное платье, на груди, увешанной бусами, красовалась брошь, в ушах — дорогие серьги, на голове повязан шелковый платок, расшитый цветами. Мама расстелила на айване палас, одеяло и пригласила гостью к дастархану. Женщина, сняв лакированные кавуши, поднялась на айван, села на одеяло и, нахмутив черные покрашенные сурьмой брови, кокетливо сказала:

— Садитесь, пожалуйста, не надо беспокоиться! — Она, как веером, стала обмахиваться широким рукавом платья, — Давно собиралась к вам заглянуть, да будь оно проклято, это хозяйство, все никак не могла выбраться из дома!

Мама принесла чай. Женщина потянула маму за подол и усадила рядом с собой.

Гостья оказалась дочерью Нарбуты-бая, крупного торговца зерном из махалли Шайхулислам. Разорившись, отец выдал дочь за Чиланкары четвертой женой. Чиланкары первые два года носил ее на руках, а вот уже восемь месяцев как охладел к ней. К кому она только не обращалась, начиная от святых шейхов в Шаппаше до знахарей в Гишткуприке. Какая-то гадалка нагадала ей: «Колдунья охладила к тебе мужа». Женщина давно уже подозревала третью жену Чиланкары, свою соперницу, и теперь была уверена, что это она отвадила от нее мужа разными приворотными средствами. Вот женщина и пришла к нам сделать отворот и избавиться от ворожбы своей соперницы при помощи заклинания. Она стала плакать и уговаривать маму помочь ей, гладила ее руку и чуть было не встала на колени. Мама, ничего не понимая, все повторяла:

— Но ведь мой муж простой кузнец!

Женщина не переставала плакать.

— Милая, да быть мне его рабой, если даже он кузнец. Мадали-духовник тоже был веретенщиком.

И женщина снова горько заплакала.

Вечером, когда вернулся папа, мама стала умолять его исполнить просьбу одной слабой, беззащитной женщины. Услышав просьбу матери, папа сначала только улыбался, а потом серьезно сказал: «Если все, что я буду делать, останется между нами и если женщина готова

молчать, я согласен. Передай ей, чтобы она принесла с собой небольшой новый кувшин, которого еще ни разу не касалась вода».

Получив папино согласие, женщина пришла к нам через два дня с кувшином. Папа прочитал заклинание, сделал отворот от порчи, поколдовал над этим кувшином и сказал, чтобы женщина вскипятила мужу чай в нем.

Спустя несколько дней к нам явилась горбатая старушка. Не успев переступить порог, она бросилась на колени и стала молиться аллаху за моего отца и, обливаясь слезами, проклинать свою невестку.

- Проклятая женщина взяла в руки моего сына, слова сказать ему не дает. Он-то, глупец, теперь слушать никого не хочет, кроме нее.

Будет сидеть голодным, пока жена не подсядет обедать. Уже три года живут, а он ее ни разу пальцем не тронул. Да поможет вам бог во всех ваших делах — скажите своему мужу, пусть он поможет открыть рот моему сыну, а то, бедняга, так и уйдет из этого мира, не испытав силу власти.

Снова пришлось маме уговаривать отца. Папа исполнил просьбу и этой старушки. Чтобы развязать язык ее сыну, он дал женщине щепотку чая для заварки, предварительно прочитав над ней молитву.

Так к нам зачастили женщины со всей махалли. Если вначале папа соглашался заниматься знахарством уступая маме, то теперь папу никто не уговаривал. Женщины приходили к нему, минуя мечеть, и, пройдя маленький дворик, через узенькую дверь попадали в «обитель святых духов», так стала называться маленькая полутемная комнатка, в которой папа занимался ворожкой.

Стояли последние дни уразы. Время близилось к вечеру, как вдруг мы услышали доносящиеся с улицы шум и крики. Папа выбежал первым. Я — следом за ним. В нашей махалле жил высокий худой наркоман по прозвищу Абид-упрямец, так вот этот самый Абид-упрямец, избивая жену, гнал ее по улице. Пробежав мимо нашей двери, женщина метнулась вправо в чью-то открытую калитку. Папа преградил путь Абиду-упрямцу, который пытался догнать свою жену.

— Не надо, Абид-ака, ураза ведь сейчас, да и до вечернего разговенья немного времени осталось, грех сейчас избивать женщину,— сказал отец.

Абид-упрямец остановился, посмотрел на папу так, будто собирался его съесть, и вдруг начал всюю браниться:

— ...Пришелец! Бродяга! Ты об уразе не говори, ведь сам поста не

соблюдаешь. Кузнецом себя считаешь, а я за все время, что ты у нас в кишлаке поселился, ни разу не слышал, как молотком по наковальне стучишь!..

Папа ничего не ответил, повернулся и ушел домой. Потом кое-что выяснилось. Оказывается, об отцовской «обители святых» распустили слух. Правда это или нет, но говорили, будто папа домогался женщины, которая приходила к нему вымолить ребенка. Об этом моей маме рассказала жена Али-лайлака. Да и сам Али-лайлак вскоре принес неприятную весть: махаллинские парни, в парандже, собирались снарядить к папе под видом женщины кого-то из мужчин и, разыграв сцену, будто бы папа приставал к ней, выволочь его во двор и там избить.

Хотя мама и не очень верила слухам, но все же забеспокоилась и стала ревновать папу.

Папа почти каждый день перед сном читал маме книги, в которых описывались великие битвы. Это были очень интересные книги с картинками. А как-то ему в руки попала книга, которая называлась «Китоби бахри дурар» — «Книга о жемчужном море». Там было написано: «У человека на каждом плече сидит по ангелу. Ангел, сидящий на правом плече, ведет счет всем полезным делам человека. А сидящий на левом плече — засчитывает его грехи».

Мама тихонько вставила:

— Если бы на ваше левое плечо аллах посадил двух ангелов, и то было бы мало.

Папа удивленно посмотрел на нее:

— Почему же? Ведь я не ворую, добра чужого не беру! Только молиться в мечеть не хожу, но то сам бог простит.

Мама заплакала:

— Я беременна... А что меня ожидает — не знаю. Покинул наш дом добрый ангел. Нечисть поселилась у нас.

Мама высказала папе свои опасения по поводу слухов, ходивших по кишлаку. Папа сначала смеялся, потом, не выдержав ее болтовни, ударил маму по плечу книгой и крикнул:

— Что я тебе, знахарь или заклинатель? А кто уговаривал меня помогать бедным, беззащитным женщинам?

Он, видно, потом пожалел, что ударил маму, и, чтобы смягчить свою вину, добавил: «Откуда я мог знать, что столько шума поднимется из-за выеденной половинки арбуза!»

Папа стал доказывать ей, стараясь успокоить, что все сказанное женой Али-лайлака — враки и сплетни, а подозрения мамы — вздор и нелепость. Мама, кажется, поверила ему.

Через несколько дней произошел случай, которого папа давно ждал. К нему в «обитель» пришел мужчина в парандже. Папа встретил эту «женщину» длинными молитвами и нарочно читал самые длинные аяты из Корана, чтобы вывести «ее» из терпения, и в конце, прочитав заклинание, проводил до дверей.

Об этом он, смеясь, рассказал Али-лайлаку в кузнице.

Папа прекратил свою деятельность заклинателя и врачевателя. Приходившим женщинам он говорил, что молитвы обременили его большой тяжестью. Однако желающих пойти к папе на заклинание не убавлялось.

ВАЛИХОН-СУФИЙ

Осень пришла рано, холодная, ветреная. Работа у папы спорилась. Несмотря на то, что перед кузницей был навес, приходилось работать в помещении, закрывая двери, при свете керосиновой лампы. Осенью сохнет и лопается кожа на руках, особенно на больших пальцах, и появляются такие трещины, что свободно можно засунуть головку спички. Одним из лечений от этого недуга была черная жевательная смолка. Ее надо было топить на огне и прикладывать к ране.

Однажды вечером, после очередного чтения книги, прикладывая черную смолу к большому пальцу, папа задумался и вдруг сказал: «Отдам Абдуллу в школу. Хватит того, что я мучаюсь!» Я испугался, потому что слышал, что в школе мулла лупит по рукам прутиком, ставит коленями на горох, а особенно провинившимся вставляет ноги в специальные деревянные колодки и палкой бьет по пяткам. Рассказывали, как на улице мясник говорил упирившемуся козлу: «Э, скотина, иди же, не упирайся, я ведь тебя не в школу веду, а на бойню».

Я думал, что папа о школе упомянул сгоряча, пройдет время, и он забудет о сказанном. Потому что папа хотел, чтобы я, как и он, стал кузнецом. Сколько помню себя, игрушками мне служили кузнечные инструменты. И даже, когда, играя в кузнеца, я ломал какую-нибудь нужную вещь, мне это прощалось.

Папа уходил в кузницу еще до восхода солнца. Я приходил ему помогать попозже. Когда на следующее утро я пришел в кузницу, папа

дождался меня с приношением для учителя — на подносе лежали шесть лепешек, полфунта халвы. И мы с папой отправились в школу. Школа была рядом с мечетью. Встретил нас служитель этой мечети Валихон-суфий. Он был в тюбетейке, какую носили совершившие хадж в Мекку, и папа, передавая ему меня, сказал: «Отдаю Абдуллу в ваше полное распоряжение». Валихон-суфий, мой первый учитель, благословил меня словами: «Да будет ваш сын муллой!»

Помещение, в котором занималось тридцать ребят, было тесным и темным. Мы сидели вокруг муллы в несколько рядов и каждый ученик зубрил свой урок. В такие минуты келья напоминала клетку, в которую посадили стайку воробьев. И когда кто-нибудь уставал и прекращал зубрежку, Валихон вытягивал длинную, как у общипанного петуха, голую морщинистую красную шею и смешно таращил на нас глаза. Если это не помогало, он засучивал длинный рукав своего чапана и брал в руки палку. Сразу же галдеж усиливался — ребята снова принимались за зубрежку.

Через две недели, когда я слегка изучил алфавит, мулла наконец сказал мне:

— В субботу перейдешь на хафтияк.

Я очень обрадовался. Папа в тот же день купил мне новую книжку, по которой я теперь должен был заниматься. Мама тоже радовалась за меня и сшила для моего хафтияка мешочек.

В субботу, завернув в дастархан четыре лепешки, целый фунт халвы, два больших куска наввата, я отправился в школу. Это был мой первый день занятий по учебнику. Хотя я до этой книги изучал буквы на дощечке, какую давали каждому ученику, но почему-то думал, что никакой связи между учебником и этими буквами нет, и, не глядя в книгу, стал повторять сказанные учителем слова, хотя ничего не понимал:

— Апаламза аль хевамиза хам альхам доль пишти альхамду¹.

Эту строку я зубрил целый день. Да и на следующее утро, пристроившись у окна и глядя в потолок, я зубрил первую строку из хафтияка, как вдруг увидел, что под окном стоит папа. Он кивком вызвал меня к себе. Заметив моего отца, следом вышел и домла.

— Ну-ка, прочти мне еще разок! — сказал папа.

Я повторил то, что второй день с таким усердием зубрил. Папа

¹ Первая строка из хафтияка, на которой упражнялись для правильной постановки речи.

выслушал меня и засмеялся.

— Апаламза аль? — переспросил он и глянул на учителя: — Что он говорит, таксыр?

Домла попросил меня несколько раз повторить первый урок, а сам внимательно слушал, моргая глазами, и бодро ответил:

— Очень способный ваш сынок!

Папа снова засмеялся:

— Не знаю, способный мой сын или нет, но были ли вы способным в свое время?

Домла даже растерялся.

— А-а... что такое? Ошибся, что ли? Обучаю тому, что сам знаю, ничего страшного нет, если забыл что...

— Нет, таксыр, скажите, что не поняли этого в свое время. Вам и сейчас не поздно это знать: читается не «апаламза аль», ведь над алифом стоит знак,— значит будет читаться «ал»!

Папа растолковал стоявшему с растерянным видом Валихону первую строку из хафтияка и, взяв меня за руку, повел домой. А домла стал кричать вслед: «У меня учится сын Чилана-кары, сын Абдурахмана-хаджи...» Он еще что-то долго кричал, но мы его уже не слышали.

Придя в кузницу, папа сунул мне веревку от кузнечного горна.

— Не расстраивайся, сынок, я тебя сам буду учить,— сказал он и стал всю ругать домлу и тут же рассказал о происшедшем двум дехканам, которые сидели в кузнице в ожидании заказа.

Папа сдержал свое слово. Каждый вечер, читая книгу, он подзывал меня к себе и читал слова, водя по ним пальцем. Я же старался запомнить их и днем исписывал этими словами стены и двери. Таким образом я выучился читать не по буквам, а по словам, которые заучивал на память. И где бы я потом ни встречал уже знакомые мне слова, я сразу же узнавал их. Я знал такие слова, как «мул», «торговец», «пророк», «битва».

Валихон-суфий несколько дней ходил обиженным на папу, но, вероятно, поняв, что, если об этом случае узнают люди, он лишится своего хлеба, решил помириться с отцом.

— Абдукаххар-уста, вы, оказывается, все равно сына в помощники себе готовили, так могли бы его просто из школы забрать. Ну, что было, то прошло, я вас только прошу, чтобы все это между нами осталось,— сказал он.

Валихон-суфий долго сетовал на свою трудную и горькую жизнь. Он ругал себя за то, что в свое время, когда отец его был состоятельным, не выучился как следует, жаловался, что почти весь доход мечети забирает имам, а остальное — попечитель мечети и что ему передают лишь крохи. Правда, кое-какой доход давала работа муэдзина и содержание школы,— если теперь школа развалится, он на свои скромные доходы не проживет. Папа пообещал Валихону молчать и никому не рассказывать об их ссоре.

Но слух о том, почему уста Абдукаххар забрал своего сына из школы, давно облетел кишлак. Ведь я и сам успел уже об этом рассказать ребятам, с которыми учился. Не прошло и месяца, как из школы Валихона забрали почти половину мальчишек. Валихон через несколько дней снова заглянул к отцу пожаловаться на свою судьбу, но на этот раз заодно и попугать его.

— Кого на свете много, так это кляузников. Вчера несколько человек пожаловались имаму: «Кузнец во время намаза стучит своим молотком так, что не слышно ваших молитв». Я их отругал, а имама уговорил не гневаться.

Валихон, видно, хотел припугнуть моего отца: мол, если замолчишь — хорошо, а нет — так мы найдем на тебя управу и выселим из кишлака. Папа рассердился.

— Ремесло кузнеца осталось нам от святого Дауда. Это полезное дело. Вы разве не знаете о том, что великий пророк Али, состязаясь с гяуром, тянул железную цепь весом в семьдесят батманов и перетянул неверного в мусульманскую веру?

Валихон опешил.

— Знаю. А как же, знаю! — сказал он.

— Тогда вы, вероятно, знаете, что ту цепь весом в семьдесят батманов, которой великий пророк Али перетянул в мусульманскую веру гяура, выковал кузнец!

Валихон, стараясь показать себя мудрым и всезнающим, сказал:

— О великий аллах! Вы только подумайте, какое совпадение, как раз об этом я и говорил вчера имаму. Работайте спокойно, стучите себе молотком на здоровье, пока я рядом с вами... Со мной ведь не пропадешь: с одной стороны у меня мингбаши, с другой — юзбаши... Юзбаши каждый праздник навещает меня, дарит подарки, вот и эту тубетейку, что на мне, он подарил...

За этой показной заботой об отце с упоминанием юзбаши, мингба-

ши и других высокопоставленных людей скрывалось все то же желание припугнуть папу и как-нибудь спасти разваливающуюся на глазах школу.

Недельки через две после того, как у нас побывал Валихон, школа прекратила свое существование. Часть ребят стали ходить в школу за базаром, а другая к учительнице в соседнюю махаллю. Это еще больше озлобило Валихона, и домла начал копать яму под папу.

Несмотря на то, что сентябрь пришел холодный, с сильными ветрами, в октябре погода разгулялась и установились ясные, теплые дни. Чтобы не упустить хорошей для вспашки погоды, дехкане шли в кузницу с новыми заказами. Надо было срочно делать кетмени. Работы папе хватало. Приходилось трудиться даже по воскресным и базарным дням. И тогда Валихон-суфий собрал после намаза нескольких человек и стал подстрекать их: «Этот пришелец сам не ходит в мечеть, да еще отговаривает других верующих. Надо его выселить из кишлака!» Но как Валихон ни старался настроить верующих против отца, этого сделать ему не удалось. Они и слушать его не хотели, потому что кузнец нужен был не только дехканам, но и тем святошам, что не пропускают молитв и с утра до вечера только и знают, что перебирают четки,— ведь и они едят то, что дает земля. Когда Али-лайлак рассказал об этом папе, он только усмехнулся. Но Али-лайлак не мог больше терпеть этого негодяя. Так как Валихон не переставал мутить воду и распускать всякого рода слухи, Али-лайлак как-то после намаза отвел его в сторону и, сунув огромный свой кулак ему под нос, сказал: «Если не оставишь в покое Абдукаххара, вырву тебе глотку, запомни!» Валихон отделался легким испугом. Правда, он тут же пошел к юзбаши и пожаловался: «Али-лайлак из-за какого-то бродяги- кузнеца хочет избить меня». Юзбаши передал это мингбаши, а тот приказал наказать Али-лайлака шестнадцатью ударами плетью за угрозу служителю мечети.

На следующий день после наказания Али-лайлак пригласил своих друзей в гости. На угощение собралось девятнадцать человек. За дастархаиом речь зашла о Валихоне. от которого никому не было покоя. Вот и Али-лайлак пострадал ни за что. Узнав, что Валихон- суфий хочет выжить из кишлака кузнеца, гости страшно возмутились. Кто-то сказал, что служитель мечети подхалим и проходимец, каких свет не видывал. Долго спорили о том, как проучить Валихона. Предложений было много,— одни предлагали устроить ему темную: заманить Валихона в комнату и, накрыв одеялом, сбрить ему бороду и усы;

другие предложили подложить ему в пищу ящерицу и заразить его ложной проказой, ведь больной проказой не может быть суфием; кто-то предложил накормить его ослиными мозгами и тем самым свести с ума, а были и такие, что настаивали сделать Валихону «светильник», после чего суфий вряд ли остался бы в кишлаке.

Все это было сказано под горячую руку, тем более что там сидел и сам пострадавший из-за Валихона, Али-лайлак.

Вскоре произошел еще один случай, который вовсе развязал язык Валихону.

Однажды один из самых богатых баев кишлака, здоровый, с круглым лицом юзбаши, заглянул к нам в кузницу и, заметив у стены соломорезку, похлопал по ней рукой и приказал папе:

— Эй, уста, занеси вот эту соломорезку ко мне во двор!

Тон, каким разговаривал с ним юзбаши, и особенно его обращение на «ты», задела моего отца. Я вдруг увидел, как сердито нахмурились его брови, и напа крикнул вдогонку уходящему юзбаши.

— Пошлите за ней человека, пусть заплатит и, если надо, заберет!

Я испугался: знал ли папа, что это тот самый юзбаши, который подарил Валихону тюбетейку и который по праздникам навещал его? Может быть, папа не знал этого?

Юзбаши остановился, обернулся и, словно не веря своим ушам, посмотрел на папу; короткая морщинистая шея у него побагровела, и он, вероятно, хотел что-то сказать, но передумал и, резко повернувшись, зашагал прочь.

Лучше бы он сразу возмутился. А то он схоронил обиду в душе. Вечером, сидя в чайхане в окружении друзей, юзбаши стал всячески бранить моего отца.

— Хуже нет, когда чужая собака взбесится! — сказал он.

И после того как юзбаши рассказал о случае с соломорезкой, Валихон добавил:

— В мечеть совсем не ходит, молитв не читает, разве можно назвать его мусульманином!

Как могло все это остаться незамеченным, раз об этом говорили два почтенных в кишлаке человека — юзбаши и суфий?

Старик кондитер решил поддакнуть этим двум и сказал, что видел кузнеца, возвращающегося из города на пролетке.

— Этот кузнец не хуже губернатора, с пролетки не слезает,— заметил он.

Много нашлось таких, которые не упустили случая подлизаться к юзбаши. Один сказал: «Кузнец продает инструменты только своим людям»; другой напомнил о деятельности папы в «обители святых»; «Грязью оброс наш кишлак из-за этого пришельца»,— добавил третий.

Об этом разговоре сообщил нам один из папиных приятелей, который сам все это слышал.

— Юзбаши и волк и лиса нашего кишлака. С ним лучше не связываться. Все же вам надо было отнести соломорезку к нему домой,— сказал он.

А Валихону сам бог велел чернить папу. Он стал придирается к папе по всякому поводу. Гостил у нас мой двоюродный брат из Джарбулака. Он у кого-то научился рисовать скорпионов. Так вот этот мой брат взял и разрисовал этими насекомыми всю загородку, которой был обнесен пруд во дворе мечети. Увидев это, Валихон ворвался к нам в кузницу и визгливым голосом запричитал: «Кто вернет душу скорпиону во время всемирного потопа?» А однажды из кельи имама пропала ступа для толчения маковых зерен, в тот день Валихон видел, как Куляля заходил во двор мечети. После пропажи он, не долго думая, вбежал в кузницу и, поймав Кулялю, стал избивать его на наших глазах, обвиняя в воровстве.

Отцу надоели эти скандалы по пустякам, и он послал одного из своих приятелей, по имени Парпивой, к Валихону передать, что примет любые условия суфия и готов помириться с ним.

Суфий не согласился.

— Если я не выживу этого нолугяура из кишлака, что бы мне в могиле стоймя стоять! — поклялся он.

Полугяур хуже, чем гяур, ибо гяура — неверного — создал сам бог, а полугяуром человек становился, искушенный шайтаном.

И тогда папины приятели решили проучить Валихона и лишить его суфийской должности.

Из всех наказаний было выбрано одно — накормить Валихона мозгами осла и тем самым свести его с ума; если же сделать ему темную и сбрить бороду, этот негодяй может кричать азан с минарета и в таком виде, а «светильник» делать было рискованно.

Папа с Али-лайлаком купили на базаре хромого осла и увели его далеко в поле, зарезали и привезли в жестяной коробке мозги. Мама, брезгливо морщась, испекла самсу. Парпивой, затащив Валихона в чайхану, угостил его самсой с ослиными мозгами и свежей зеленью.

Ничего не подозревавший суфий с удовольствием съел пирожки, запив их двумя чайниками чая.

Задумывая это дело, папа не трусил, но, узнав, что Валихон съел самсу, он побледнел. До вечера ничего не мог делать, все валилось у него из рук. Мне казалось, папа ждал, что сейчас суфий вместо призыва на молитву закричит с минарета по-ослиному. И мы с Кулялей тоже ждали этого.

Но нет, суфий прокричал не запинаясь, правда, чуть хрипловатым голосом. Папа то и дело посматривал в сторону мечети. В его взгляде было и облегчение, и недовольство тем, что задумка не удалась.

Не ошибся Валихон и на утренней молитве. Вечером к нам зашел Али-лайлак со своими приятелями. Они поинтересовались Валихоном. Папа улыбнулся и покачал головой.

Прошла еще неделя. Папа каждый день прислушивался к азану и, вконец расстроенный, сказал:

— Не ошибается, каналья!

И тогда Парпивой со своими тремя друзьями разработал новый план мести. Ни слова не сказав папе, они сделали Валихону-суфию «светильник». В полночь поймали Валихона на темной улице, запихали ему в рот тубетейку, крепко привязали вниз головой к столбу, подпиравшему крышу торгового ряда, и, стянув со святоши штаны, воткнули ему куда полагается свечку и скрылись...

В таком положении Валихон провисел до рассвета. Проходивший мимо рано утром чайханщик успел выдернуть почти догоревшую свечку и, отвязав обессиленного от страха и мучений Валихона, отвел его домой.

Приятели папы, сделавшие Валихону «светильник», были уверены, что суфий не вынесет позора и уедет из кишлака. Но папа и Али-лайлак вскоре впали в тревогу. Хорошо, если Валихон уедет. А если — нет? Этот толстокожий сможет вынести любой позор и будет ходить по кишлаку и говорить каждому: «Меня довели до этого Али-лайлак и кузнец Абдукаххар». Возьмет еще и пожалуется юзбаши или мингбаши.

И папа, посоветовавшись с приятелями, решил переехать в другую махаллю.

ЗАВОД, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ЛЮДЕЙ

Дом, куда переехать, искали долго. На наше счастье, Валихон все

еще болел и не выходил на улицу. К тому же произошел случай, после которого он совсем прикусил язык.

В соседней махалле, во дворе Алима-саркара, жили русские. Ходили они в красивых синих фуражках, и все называли их господами землемерами. Многие видели, как русские господа, установив в арыке высокий полосатый столбик, измеряли воду или забивали в землю колышки с черными номерками. Часто, громыхая тележкой, они проезжали мимо нас в город. Однажды у тележки сломалась передняя ось, и один из русских вместе с женой приехал к отцу в кузницу. Папа подставил под передние колеса козлы, и они вдвоем с русским вытащили ось. Землемер, сколько мог, помогал папе. Барыня подошла ко мне и стала что-то спрашивать. На ее вопросы отвечал больше папа, так как он немного понимал по-русски. Барыня, кажется, захотела посмотреть, как мы живем, папа сказал об этом мне, и я повел ее к нам домой.

Много повидавшая и перестрадавшая за свой короткий век, мама с приближением родов все больше впадала в отчаяние и очень переживала за еще неродившегося ребенка. Она плакала целыми днями и даже ночью, уткнувшись лицом в подушку. Барыня поздоровалась с мамой за руку, потом оглядела нашу комнату и присела к сандалу. Разговаривали они с помощью жестов и мимики. Мама, указывая на свой большой живот, снова заплакала. Барыня стала успокаивать ее и что-то говорить. Потом достала какую-то трубочку и снова подошла к маме. А мама, не дыша, с волнением смотрела на нее. Барыня приложила трубочку к ее животу, послушала, снова сказала что-то утешительное — наверное, что все, мол, будет хорошо и пусть она зря не волнуется. После ухода гостьи папа сказал, что барыня, должно быть, фотографировала маму, а мама думала, что она посмотрела ее живот в трубочку и потому сказала: «Якши».

Когда мы вернулись в кузницу, папа уже починил ось. Барыня стала что-то рассказывать мужу, то улыбаясь, то огорченно качая головой. Землемер поговорил с папой. Я, как ни прислушивался, ничего понять не мог. В разговоре часто упоминалось слово «больница».

Русские посоветовали папе отвезти маму рожать в только что открывшуюся в Коканде больницу.

И снова махаллю облетели слухи: «У кузнеца, оказывается, есть друзья и среди русских»; «К кузнецу домой заходила сама барыня!»

Авторитет наш в махалле заметно вырос. По этому поводу папа

устроил угощение, на которое пришел Али-лайлак со своими приятелями. Мне казалось, что папа не боится теперь не только Валихона, но и кое-кого поважнее.

Папа твердо решил последовать совету русских. А мама, после того как у нас побывала барыня, ходила радостная и сразу же согласилась лечь в больницу.

Несмотря на то что работы у папы было много и заказы не переставали поступать, он через несколько дней съездил в Коканд разузнать подробнее о больнице и тамошних условиях. Больница оказалась рядом с Кумир-базаром, недалеко от тетиного дома. Правда, ничего определенного о ней ни тетя, ни ее муж рассказать не могли. Но дядя Мумин слышал как-то, что жена сапожника из соседней махалли — русская и работает в больнице переводчицей. Папа сходил к этому сапожнику домой. По расчетам отца, двадцати пяти рублей как раз хватало на все расходы, связанные с родами.

Папа, недолго думая, занял у Али-лайлака и его приятелей нужную сумму, и мы всей семьей выехали в Коканд.

Остановились мы у тети. На другой день навестить нас пришли дядя с бабушкой. Узнав, зачем мы приехали в Коканд, бабушка подняла страшный крик:

— Почему это мой внук должен родиться у русских? Вай, кто же будет моему внуку читать молитву на ухо?

Как бедный мой папа ни пытался втолковать бабушке, в чем дело, она его не слушала. Тогда он не выдержал:

— Что вы прицепились к русским? Я, что ли, их сотворил?

Дядя тут же примирил их.

— Успокойтесь, мама, Абдукаххар сам прочтет молитву на ухо ребенку,— сказал он.

И как эта мысль раньше не приходила в голову отцу!

Папа переговорил по этому поводу с женщиной-доктором, и та согласилась.

В субботу к нам пришла эта женщина-доктор и осмотрела маму, а в понедельник мы отвезли ее в больницу. Два дня и две ночи просидел папа у дверей больницы. Я носил ему в узелке еду, чай, лепешки. На третий день рано утром к нему вышла светловолосая голубоглазая молодая женщина и радостно сказала:

— Уста Абдукаххар! Мальчик!

Папа вскочил с места и кинулся в открытую дверь. Я побежал

следом за ним. Женщина, сообщившая папе новость, повела нас в комнату, где находилась мама. Она лежала на блестящей металлической кровати, закутанная белыми простынями, из которых выглядывала одна голова. Женщина подвела нас к маленькой кровати, стоящей слева от мамы, и приподняла простынку. Сердито нахмутив брови, в кроватке спал мой братик. Папа взял малыша на руки и прочитал ему на ухо молитву.

Через три дня после рождения братика мы вместе со своими родственниками отправились в больницу проведать маму. Кроме папы, дяди, тети, с нами были две мои двоюродные сестры — Ульмасой и Мукаррамхон. Мама обрадовалась нашему приходу. Я никогда не видел ее такой веселой. Она радостно улыбалась и рассказывала о больнице с превеликим удовольствием.

— Я боялась вначале, а когда боишься, схватки прекращаются. Но они ничего такого стеснительного для меня не делали. Бедняжки марджи купали меня в белом корыте, как маленькую. Мне было смешно. Они тоже смеялись.

— Не говори марджа, а говори барыня! — поправил ее папа.

— Нет, барыней зовут доктора, а остальные все марджи! Так мне жена сапожника сказала. Я тоже, оказывается, марджа. Ну и смеялась я.

Мы тут же решили дать моему братику имя. Тетя предложила назвать его Купайсин (то есть «пусть множится») или Тургун («пусть долго живет»), но пана не согласился:

— Оставь, все равно от всех эти предосторожностей толку мало. Назовем его лучше Умарали.

Так звали одного из дружков Али-лайлака, здоровенного, крепкого парня.

Через неделю после родов доктор разрешила забрать маму домой.

— Везите ее на пролетке, пусть еще недельку полежит дома,— сказала она папе.

И папа повез нас из Коканда в Бувайди на пролетке, но у въезда в кишлак мы сошли с нее и целую версту до самого дома шли пешком: папа считал, что проезжать мимо базарчика — значит дать повод для новых сплетен и к тому же злить больших людей кишлака,

ведь все могли подумать, что у нас завелись лишние деньги. Скажут еще: «Уста Абдукаххар не хуже губернатора, с пролетки не слезает».

Соседки, не ожидая, пока мальчику исполнится хотя бы месяц, стали навещать маму. Я понимал: очень уж им не терпелось посмотреть

на ребенка, родившегося в больнице. Они все старались найти на нем хоть какие-нибудь признаки русского «происхождения», ведь он родился у русских на руках. Ко всему этому, мама в своих рассказах о больнице здорово преувеличивала виденное. Она говорила: «Купали меня в машине, машиной осматривали меня, машиной заставляли рожать, на машине готовили обед».

Одна из пришедших к нам в гости старух схватилась за воротник платья:

— О аллах! Слышала я, что существует хлопковый завод, а теперь, оказывается, появился завод, который делает людей!

Весть о том, что моя мама рожала на заводе, который делает людей, быстро облетела кишлак, как в свое время в Яйпане — весть о покупке нами «Зингера».

ТЕШИКТАШ

И то, что Валихон-суфий болел и не мог сплетничать, и то, что нас навещали русские господа и приходила барыня,— подняло наш авторитет в кишлаке, и папа спокойно работал.

Зимой у кузнеца всегда хватает забот. Когда много работаешь кетменем, стачивается лезвие, и кетмень приходит в негодность. Дехканин с весны до осени изработывал до пяти-шести кетменей. Новый кетмень стоил денег, а починка, наставка лезвия обходилась в два раза дешевле. Дехканину невыгодно было покупать новый кетмень, и потому он предпочитал починить старые.

Папа работал быстро, за день он успевал наставить до шестнадцати кетменей. Так как восстановленные кетмени не отличались друг от друга, а каждый хотел получить обратно именно свой инструмент, папа делал на них пометки. В отличие от кузнеца Турдыали, который помечал кетмени разными знаками, папа стальным наконечником царапал на кетмене имя владельца. Дехканин радовался этому, хотя и не умел читать.

А потом сильные ветры принесли с собой холода. Выпал мелкий, похожий на сахар снег. Неожиданно ударили морозы, от обильного снегопада согнулись ветки деревьев; на лету замерзавшие дикие горлинки со стуком падали на землю. Куляля от холода не мог спать в кузнице и вместе с батраками Чилана-кары ночевал у него в хлеву. Днем, накрепко закрыв двери кузницы, чтобы не ушло тепло, мы ра-

ботали при свете керосиновой лампы.

Однажды, когда папа, Куляля и я, закрыв наглухо двери кузницы, работали, с улицы послышался крик. Мы выбежали во двор. По другую сторону замерзшей речки, посреди дороги, на снегу лежала молодая женщина. Мимо нее с криками: «Держи! Лови!» — промчалась толпа, догоняя черную собаку с поджатым хвостом. К женщине подошли люди. Один из собравшихся узнал ее.

— Ие, да ведь это жена Бабара! — сказал он и, развязав желтый поясной платок, накинул его на лицо женщины, лежавшей без сознания. Мальчишки не смогли бы донести ее на руках до дома, а взрослые мужчины были чужие. Кто-то из ребят сбегал за ее мужем. Кровь, каплями стекавшая с голени женщины, окрасила снег, он в этом месте подтаял, из образовавшейся ямки поднимался пар.

Через некоторое время прибежал напуганный Бабар и унес жену домой. А мы, мальчишки, подхватив ее вещи — кто разбитый кувшин, кто чапан, кто кавуши, слетевшие с ног, побежали за ним. Бабар жил у Хатама-чайханщика и работал его помощником. Бабар осторожно положил жену около сандала. Она уже успела прийти в себя, стала стонать и плакать. Откуда-то появившаяся старушка подошла к ней, развязала поясной платок у Бабара и, разорвав его надвое, сказала:

— Надо паутину приложить к ране, она тогда быстрее заживет. Ну чего ты встал, иди!

Бабар принес длинную палку с привязанным на конце веником и с его помощью собрал с потолка паутину. Старуха приложила собранную паутину к ране и туго перевязала ногу платком. Женщина наконец открыла глаза и дрожащим голосом спросила:

— Кажется, собака была бешеной?

Старушка стала успокаивать ее.

— Ничего страшного, что бешеная. Муж отвезет тебя в Тешикташ, два раза перейдешь через речку вброд, и все пройдет,— сказала она и принялась рассказывать об этом удивительном кишлаке, хотя сама там сроду не была.— Тешикташ от нас далеко, дальше, чем кишлак Бачкыр. И там протекает речка, из которой пьют воду облака. Говорят, тамошние люди охотятся за облаками. Когда облако спускается к воде, охотники стреляют в него и откалывают себе по большому куску...

— Повезу, бог даст, повезу! — сказал Бабар.

Через десять дней Бабар отвез жену к своей тете в Алкар. С того дня

и самого его не стало видно. Объявился он в один из воскресных дней. Бабар пришел к нам в кузницу с коромыслом через плечо. В горшочках у него было кислое молоко, сметана, творог. Бабар спешил на базар и забежал к нам погреться и заодно поделиться новостями. Он заметно похудел, длинное, вытянутое лицо сморщилось, глаза ввалились, был он грязный и весь какой-то потрепанный. По всему было видно, что бедному Бабару некогда следить за собой. Куляля разложил небольшой костер, расстелил перед гостем дастархан, принес чай, разломил две лепешки. Бабар сказал, что его жена до сих пор чувствует себя неважно, по ночам не спит, а все стонет и плачет. Поэтому он, чтобы скорее повезти ее в Тешикташ, решил накопить денег. У дехкан, которые имели коров в Алкаре, не было времени сходить на базар в Бувайди, и Бабар носил продавать их кислое молоко, сметану, творог; делал для них покупки на базаре, а за это они ему кое-что платили. Он уже скопил немного денег. Около восьми таньга. Если бы у него было еще пять-шесть таньга, он, ни на минуту не задерживаясь, отправился бы в Тешикташ.

Бабар согрелся, попил чаю и, прочитав молитву над дастарханом, взял свое коромысло и отправился на базар.

Вечером, часов около шести, когда базар уже закрывался, кто-то из знакомых сказал нам, что Бабара поймали на базаре за воровство. Мы не поверили этому слуху, потому что это никак не укладывалось в нашем сознании, и папа послал меня разузнать, что же на самом деле произошло.

Народу на базаре почти уже не было. Несколько человек стояли возле бывшей лавки медника. Тут же вертелись мальчишки. Торговец табаком, по имени Кудрат-хромец, что-то рассказывал собравшимся, он был в курсе происшедшего. Все внимательно слушали его, ибо знали, что этот человек с утра до позднего вечера слоняется по базару и, конечно, многое знает.

Оказывается, Бабар, продав два последних горшочка кислого молока, стоял под деревом в ожидании покупателя, который должен был принести пустую посуду, как со стороны хлебного ряда послышались крики: «Держи! Лови! Украли!» У продавца риса, когда тот расплачивался с покупателем, какой-то человек выхватил из рук деньги и убежал. А другой, вероятно, сообщник вора, отвлек внимание продавца и направил его в противоположную сторону, а не в ту, куда побежал похититель. Ничего не соображавший от волнения продавец

риса подбежал и вцепился в Бабара. Возмущенный Бабар поднял продавца риса над головой и кинул его через себя. Продавец, поднявшись с земли, с криком снова бросился на Бабара, уже не сомневаясь в том, что это он украл у него деньги. Бабар ударом кулака сбил продавца на землю. Неосведомленная толпа, увидев, что молодой человек избивает почтенного старца, набросилась на Бабара. Ему скрутили руки и вызвали караульщика, который запер его в пустую лавку медника.

Старосту кишлака привел сам продавец риса. Староста, не вдаваясь в подробности и не задавая лишних вопросов, хлестнул плеткой по плечу Бабара.

— Где деньги? — спросил он.

Вконец растерявшийся Бабар извлек из внутреннего кармана чапана горсть монет, вырученных от продажи кислого молока, и протянул старосте. Староста отдал деньги продавцу риса.

— А где остальные? — вдруг завопил продавец.

Бабар же, подумав, что с него спрашивают деньги за два последних проданных горшка кислого молока, извиняющимся тоном сказал:

— Скоро принесут, пусть бог меня накажет, если вру...

Староста, которому надоело стоять на холоде, подмигнул караульщику и строго наказал:

— Постой тут с ним немного. Если он позовет своего сообщника — хорошо, нет — выведи его в поле и расстреляй!

У Бабара от испуга расширились глаза.

— Не расстреливайте меня, дяденька! Не надо! Не расстреливайте... Бедный и несчастный я. Жену мою бешеная собака покусала. Очень сильно покусала, если не верите, пошлите ко мне домой людей. Жена моя дома сидит и плачет... Хочу ее в Тешикташ свозить. Не расстреливайте меня, а лучше прикажите что-нибудь выполнить, я обязательно выполню. У Хатама-чайханщика можете спросить, я не увиливую от работы... Жена меня дома ждет...

Староста ушел. Продавец риса пересчитал деньги, отобранные у Бабара. Видно, сумма почти сошлась, и он протянул караульщику несколько монет на чай.

— Если остальные получим, еще подкину! — сказал он.

Караульщик потянул Бабара за руку:

— Скажешь, где твой сообщник, или мне расстрелять тебя?

Бабар никак не мог понять, чего от него хотят.

— Нет у меня никакого приятеля, все это из Алкара я один тащил.

Выведенный из терпения караульщик, толкая Бабара впереди себя, повел его в поле, как будто бы на расстрел. Толпа мальчишек бежала за ними всю дорогу. А Бабар шел и умолял караульщика:

— Милый, дорогой ака, не расстреливайте меня, ради бога. Жену собака бешеная покусала, она дома сидит и плачет.

Караульщик повел Бабара за караван-сарай. Дети и даже взрослые увязались за ними. Караульщик поставил Бабара к стене, отошел на несколько шагов, поднял винтовку и щелкнул затвором.

— В последний раз спрашиваю, скажешь или нет? — сказал он.

Но так как Бабар молчал, он прицелился и выстрелил поперех него. Бабар стоял, широко раскрыв рот и глаза, и даже не шелохнулся от выстрела. Караульщик повернулся к толпе и сказал:

— Клянусь аллахом, впервые встречаю такого упрямого вора, выстрелил я почти над его головой, а он и глазом не моргнул!

Караульщик снова отвел Бабара в пустую лавку медника.

Вот что мы услышали на следующий день. Правда, не поверили этим слухам, но караульщик сам подтвердил это.

Приведя в лавку Бабара, караульщик поговорил с ним и, выяснив, что тот ни в чем не виноват, отправился вечером к старосте, чтобы получить разрешение отпустить Бабара. Старосты дома не оказалось. Он был в гостях у мингбаши, к которому из города приехали друзья. Когда караульщик пришел к мингбаши, веселье было в самом разгаре; забыв о деле, он остался вместе с остальными слугами пировать. Под утро, возвращаясь с пирушки, караульщик вспомнил, зачем приходил к мингбаши, и, разыскав старосту, напомнил ему о Бабаре.

— Ие, да я совсем забыл о нем! — воскликнул староста.

Они пришли на базар и, войдя в темную лавку, зажгли спичку: съезжившись от холода, Бабар сидел в углу. Староста крикнул ему:

— Что же ты не ушел, дверь ведь не была запертой?

— Вы же сами приказали посадить меня сюда. А вы же как- никак государственный человек... — ответил Бабар, стуча зубами.

Староста распахнул дверь. Бабар вышел на улицу и побежал. Споткнувшись, упал. С трудом поднялся на ноги и снова побежал. Никто не знал, почему Бабар не пришел к Хатаму-чайханщику и не догадался постучать в любую дверь и попросить ночлега. А может, он торопился к жене, которая ждала его.

Ранние прохожие увидели под одиноким топодем сидящего на

корточках человека. Он сидел без движения, хотя над ним на ветвях тополя таял снег и капли падали ему на голову и плечи. Это был Бабар. Один из них подошел к нему и тронул за плечо.

— Что ты тут сидишь?

Бабар повалился на бок. Оказывается, он умер, окоченев от холода.

Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, но однажды к нам приехал дехканин из Алкара чинить кетмень. Папа поинтересовался у него, что стало с женой Бабара.

— Бедняжка после смерти мужа сошла с ума. Умерла в страшных мучениях, искусав себя,— сказал дехканин, тяжело вздохнув.

Этот человек не знал, что жену Бабара покусала бешеная собака.

ЛЮБИМЕЦ БЕЛОГО ЦАРЯ

Только через два месяца Валихон оправился от болезни. Прошла зима, а потом и весна. Валихона мы не видели. Видимо, он прослышал, что к нам захаживают русские господа, и оставил нас в покое. Хотя после «светильника» Валихон долго болел, он никому не жаловался, потому что знал — сам мингбаши кланяется русским.

К тому же летом в кишлаке среди населения началось беспокойство.

Если о войне с Германией мы узнали два месяца спустя после ее начала, в Яйпане, да и то случайно, то о том, что белый царь набирает из мусульман мардикеров для окопных работ, узнали чуть ли не через три дня.

Забирали мужчин от девятнадцати до тридцати одного года.

Бувайдинской волости надлежало дать белому царю пять тысяч двенадцать человек.

Несмотря на то что работы у дехкан в эти дни было много, вечерами на улицах собирались толпы людей. А в чайханах даже стало тесновато от народа. Только и слышно, как люди причитают: «О боже, спаси ты своих рабов! Устыди ты тирана ненасытного!»

Раз в неделю пана ездил в Коканд покупать уголь и железо для кузницы. Многие дехкане, не выдавшие ни разу в своей жизни города, считали, что папа знает обо всем на свете. Перед нашей кузницей всегда толпился народ.

— Взятых в мардикеры людей пропускают через завод, после чего у них синеют глаза. Впустят в одни ворота, да как загудят в трубу, так

человек с синими глазами из другого выхода иноверцем выскакивает,— рассказывал один из дехкан.

— А когда мардикер умирает, его труп кладут в сундук и стоймя закапывают в могилу! — вторил другой.

— В горах Кафы охотился один человек и вдруг видит: вверх на гору катится большой круглый камень. Охотник подобрал этот камень и отнес губернатору. А губернатор, недолго думая, отправил тот камень в подарок белому царю. Когда царь приказал расколоть диковинный подарок, то в нем обнаружили белый палец. Расхохотался царь и велел изрубить этот палец на мелкие части.

Чего только нельзя было наслышаться за день.

В нашем кишлаке только и слышно было, как плачут и причитают люди. Все ждут, вот-вот объявят список людей забираемых в мардикеры.

Но список никак не объявляли. Старейшины кишлака — мингбаши, Чилан-кары, имам большой мечети Шарафитдин-махсум, юзбаши, Абдурахман-хлопкоторговец — все совещались и совещались. Никого из старейшин на улице не увидишь. Люди и дома их не могут застать.

А кишлак облетела новая весть: «В список мардикеров попали все, но юзбаши дал телеграмму в Ташкент с просьбой оставить чайрикеров — издольщиков для работы на хлопковых полях, а вместо них юзбаши, оказывается, обещал купить мардикеров из города». Еще не успели объявить список, как многие дехкане пошли с поклоном к мингбаши — просить оставить их в кишлаке. «Возьмите моего мужа, моего сына чайрикером, до самой смерти будет вам верой и правдой служить, рабом вашим будет»,— умоляли юзбаши женщины. Только и слышны были в кишлаке плач, крики, проклятия.

А до кишлака доходили новые вести. «В Ходженте народ смуту поднял. А в Ташкенте все наотрез отказались идти в мардикеры, заявили об этом в какое-то высокое учреждение. В таком-то кишлаке народ поджег дом мингбаши; в таком-то избили до смерти старосту...»

Наконец старейшины кишлака, пригласив из всех махаллей эликбаши, имамов и других видных людей, начали держать совет. А потом перед всем народом от имени совета выступил имам большой мечети Шарафитдин-махсум. Он сказал: «В мардикеры пойдут только те, кто хочет идти... Остальные должны найти себе замену...» Эти слова, самые радостные за последние дни, молнией облетели весь кишлак, превратив траур в праздник. Однако радость оказалась короткой. После

того как объявили точную дату отправления мардикеров, каждого стал мучить вопрос: «Кто же пойдет в мардикеры вместо не желающего идти? Кого кем будут заменять?»

Жил в нашей махалле глуповатый парень Рузы, по прозвищу «царский дурак». Рассказывали, что когда-то в Бувайди приезжал именитый господин, который, расщедрившись, дал Рузы полтаньга и похлопал его по плечу. С тех пор и закрепилось за ним прозвище «царский дурак». А придурковатость его заключалась в том, что он резал всех собак, которые ему попадались. Он всегда напевал одну и ту же песенку:

*Может, яблочка ты хочешь?
Иль айвы ты взять не прочь?!
Ну, скажи мне, чья ты дочь?*

Так вот этот самый Рузы был пока единственным, кто изъявил желание пойти в мардикеры. Чилан-кары успел купить его за семьдесят пять рублей и уговорил пойти вместо своего младшего брата. Через несколько дней цена на мардикеров поднялась до ста рублей, потом до двухсот и даже в некоторых случаях доходила до трехсот. Кто-то, говорят, запросил даже семьсот рублей.

Старейшины снова собрали всех именитых людей кишлака на совет и создали специальную комиссию. Эта комиссия должна была заниматься набором мардикеров. Обратившись от имени комиссии к народу, юзбаши сказал: «У многих нет денег, чтобы нанять кого-либо, вместо себя, а кто деньги нашел — человека не может найти. Наша комиссия и должна помочь в решении этого вопроса». Люди радовались каждой хорошей вести и даже не спали по ночам. Кто-то пустил слух, что юзбаши скоро повысят в должности.

Комиссия назначила по два человека в каждую махаллю для сбора денег на мардикеров. А в другие волости и в город были посланы специальные представители для покупки мардикеров на собранные у народа деньги.

В нашей махалле собрать деньги было поручено элликбаши и Валихону-суфию. Они оба пришли к папе в кузницу. Работы у папы было мало, и он целыми днями вместе с Кулялей точил ножи.

Валихон был удивительно приветлив: расспросил о житье-бытье, а обратившись ко мне, сказал: «Помогаешь отцу, беглец?»

Новый элликбаши, не подозревавший о том, что папа хорошо знает законы, сразу выложил суть дела.

— Ну, уста Абдукаххар, выкладываете деньги или придется вам в мардикеры подаваться! Есть такие, что по пятьсот рублей дают, а с вас и трехсот хватит, как-никак ремесленник вы...

Папа его слова обратил в шутку:

— Белый царь сказал: стучи своим молотком, и никто тебя пальцем не тронет!

Валихон улыбнулся.

— Так мы то же самое говорим,— сказал он с улыбкой,— Заплатите мардикерские деньги и занимайтесь спокойно своим делом.

Пана ответил:

— Мардикерские деньги, вероятно, собирают с тех, кого занесли в список и кто вместо себя хочет послать другого? Меня в списках нет. Я простой ремесленник. И потом, у меня семья, которую надо кормить.

Элликбаши удивленно посмотрел на суфия. Суфий на элликбаши. Давно копивший злобу на папу, Валихон с трудом сдерживал свой гнев и, стараясь скрыть волнение, сказал:

— Вы все время держитесь в стороне от всех, уста Абдукаххар! У народа горе, а вы тут лишние разговоры заводите. У нас нет в списках вот уже восемь месяцев прикованного к постели Адыла-бува, однако он дал сто рублей. Мадраим-хромец тоже не захотел отставать от других, хотя его тоже нет в списках. Вдова покойного Нарбуты и та наскребла что могла! Неужели вы хуже этого больного старика, несчастного хромца и бедной вдовы? Эх, лучше не надо никаких ваших денег!

Валихон отбросил в сторону попавший под руку брусок.

Спорить с ними было бесполезно, все равно что тянуть изо рта собаки кость. И папа сдался.

— У меня всего пятьдесят рублей. Летом работы совсем нет, а осенью, в самый ее разгар, угля и железа днем с огнем не сыщешь.

У Валихона глаза полезли на лоб.

— Хорошо, можете денег не давать! Скажите, что отрекаетесь от кишлака! Отрекитесь от кишлака, и нам ни копейки от вас не нужно!

Отречься от кишлака — все равно что лечь живым в могилу. После долгого торга папа согласился дать двести пятьдесят рублей. Пятьдесят сейчас наличными, а остальные двести папа обещал внести в течение трех дней.

Он обратился к Чилану-кары, который каждой весной давал аванс и

суду дехканам. Если раньше долги возвращались с десятипроцентной надбавкой, то с появлением мардикерских денег проценты выросли на двадцать, тридцать и даже на сорок процентов со ста. Так как пана был своим, махаллинским кузнецом, Чилан-кары дал папе двести рублей при условии, что папа вернет ему двести пятьдесят.

Папа отнес деньги элликбаши, который, получив от отца двести пятьдесят, дал расписку на двадцать рублей. Когда папа поинтересовался: «Почему так?», элликбаши ответил: «Если правительство узнает, что вы даете такие большие деньги, оно подумает, что народ разбогател, и обложит его еще большими налогами».

Папа был озабочен: не было ни денег, ни работы.

Как-то вечером мы с папой сидели в переулке на супа и смотрели, как ребята играют в орехи. Пришел Али-лайлак. Настроение у него было плохое, ему пришлось продать своего единственного вола, кормильца, чтобы заплатить мардикерские деньги.

— Это все подлеца юзбаши проделки,— сказал Али-лайлак с гневом.— Царское правительство, оказывается, говорило, чтобы в мардикеры шли не все, а этот негодяй деньги на мардикеров со всех собирает, он просто наживается на нашем горе и кровь людскую ведрами пьет. Весь кишлак опутал налогами!

Многие из папиных приятелей, которые были не в состоянии заплатить больших денег, сами отправились в мардикеры. Один из них, Эрмат, хотел продать свой участок земли, так юзбаши согласился купить его за полцены.

— Не мужики, а бабы! — ругался Али-лайлак.— Из кукурузной муки, хотя она и похожа на пшеничную, теста не замесишь! Об этом и мингбаши хорошо знает, и юзбаши. Потому-то без зазрения совести что хотят, то и творят! Все мы тряпки! Будь мы мужчины, разве не накликали бы на голову юзбаши тысячу бед! Растопить бы полведра золота и залить его ненасытную утробу!

В народе росло недовольство.

Спустя несколько дней, вечером, когда наша семья была в сборе и сидела дома, с улицы послышались два выстрела. Потом еще несколько, и началась пальба. Мы с Кулялей бросились было на улицу, но папа вернул нас, отругав как следует. Подойдя к воротам, он закрыл их на засов. Выстрелы стали слышаться все реже. Только теперь кто-то кричал о помощи: «Караул! Помогите! Юзбаши ограбили!»

До позднего вечера слышались то одиночные выстрелы, то крики,

то кто-то пел песню, и вдруг все стихло. До утра стояла такая тишина, будто кишлак вымер. Папа рано утром сходил в мечеть и узнал о ночном происшествии. Воры залезли к юзбаши, разрезали хозяина дома соломорезкой на три части и, облив керосином, подожгли. Рассказывали, что, когда воры залезли в дом, свояченица юзбаши, сестра его жены, спряталась на чердаке и записала на подоле своего платья имена грабителей. Парень по имени Уммат высыпал якобы перед юзбаши целую шапку золота и заставил его глотать монеты. Тот бедняга, сколько смог, проглотил. Тогда Уммат стал пихать ему в рот золото насильно.

Днем мы с Кулялей, воспользовавшись тем, что папы не было дома, по крышам домов добрались до базарного ряда. Сверху хорошо была видна дорога на Коканд и двор юзбаши, его зеленая терраса за густым виноградником. На площади и прилегавших к ней улицах было полным-полно народу. Мне показалось, что тут собралось все население Бувайди. Караульщики бегали взад-вперед, суетились, кричали на кого-то, размахивали плетками.

А спустя некоторое время на кокандской дороге показались всадники. Толпа загудела, пришла в движение. Слышались чьи-то голоса, выкрики. Впереди ехали трое всадников в белых мундирах с золотыми погонами. Справа от них ехал мингбаши, слева — какие-то именитые люди в больших чалмах. Строй замыкали солдаты. Проехав мимо толпы, всадники повернули к дому юзбаши и, не слезая с лошадей, въехали во двор. Толпа молчала. Люди боялись выпрямиться, так и стояли, согнувшись в поклоне. Мы с Кулялей наблюдали за всем этим с крыши.

Потом по рядам прокатилось: «Идут! Идут!» И снова все согнулись. Это продолжалось до самой вечерней молитвы. Сколько раз люди сгибались и сколько разгибались, трудно было сказать. Наконец забежали охранники и объявили о выходе именитых господ. Из ворот выехали те трое, в белых мундирах с золотыми погонами, в сопровождении именитых людей кишлака. Следом за ними солдаты вывели со двора человек двадцать, которых подозревали в убийстве юзбаши, и новели под конвоем в Коканд.

Говорили, что один из господ во время допроса сказал: «Юзбаши был любимцем белого царя!» И сразу же прошел слух, что арестованных будет допрашивать сам царь.

Папа с Али-лайлаком, узнав о приезде господ из города и боясь, что

Валихон вдруг наговорит на них, уехали в соседний кишлак. Вернулись они поздно ночью.

ТЕНЬ ИШАНА

Когда господа угнали в город людей, которых подозревали в убийстве юзбаши, в кишлаке наступила тишина. Ни единого голоса, ни оха, ни вздоха не было слышно. А если кто и проливал слезы, то тайком, чтобы никто не видел.

Среди угнанных солдатами людей оказался и один парень из кишлака Учкуприк, по имени Мадраим, который попал в число арестованных случайно. А получилось так, что, когда солдаты гнали арестованных через кишлак Учкуприк, этот парень, зазевавшись на дехкан, оказался на мосту. Шедшие впереди солдаты не обратили на него внимания, а замыкавшие подумали, что один из арестованных хочет бежать, и прикладами загнали его в толпу. Возражать солдатам было бесполезно, и Мадраим пошел с ними до Коканда. В тюрьме его занесли в список, а может быть, кто-нибудь из арестованных нарочно записал парня, чтобы не было скучно сидеть: у Мадраима был неплохой голос, к тому же он сам сочинял песни и сам же их исполнял:

*Птицы, летящие в небе высоко,
передайте родным: их сын далеко,
ни в чем не повинный, головы не склоняет,
если ж виновен, пусть меня меч покарает!*

Через пять месяцев, когда выяснилась невиновность Мадраима, над ним посмеялись и отпустили. Мадраиму удалось побеседовать в тюрьме с двумя мардикерами, убежавшими из далеких краев. Они называли те места «холодным адом». Южане мерзнут там, как мухи. Многим поотрезали отмороженные уши, носы, руки, ноги. А сколько умерших от голода и болезней так и остались лежать на дорогах, становясь добычей диких животных. Словом, слухи что ни день становились все ужаснее.

Шел крупными хлопьями снег. Мы сидели в кузнице. Вдруг со стороны базара послышались крики. Папа послал меня разузнать, что там происходит. Под крышей торгового ряда собрались почти все женщины кишлака. Женщины кричали, дети плакали, и стоял такой

невообразимый шум, что ничего нельзя было разобрать. Из толпы доносились проклятия: «Будь проклят мингбаши! Чтоб сгореть тебе вместе со своим домом! Чтоб дети твои с голоду посдыхали!» Имам большой мечети Шарафитдин-махсум поднялся на супа и обратился к женщинам:

— Мусульмане! Не верьте лжецам, вселяющим в вас смуту. Наш полуцарь, его величество Куропаткин, самолично присматривает за вашими братьями, отцами и детьми, ушедшими в мардикеры. Наши земляки под покровительством аллаха и под защитой его величества государя нашего спокойно трудятся, зарабатывая свой хлеб насущный. Даст бог, мы скоро с ними увидимся. Аминь!

Все подняли руки к лицу для благословения. Женщины, молчавшие все это время, опять зашумели, снова послышался плач детей, ругань, проклятия.

Никогда не носивший своей формы и сабли, мингбаши появился вдруг перед толпой разодетый, в сопровождении трех вооруженных джигитов. Женщины кричали ему:

— Чтоб сгореть тебе вместе с домом, верни мне мужа!

— О, будь проклят вместе со своим отродьем! Верни мне сына!

Толпа никак не могла успокоиться. На нее не действовали грозные окрики солдат и свист плеток. Одна из женщин, несмотря на то что с ее головы слетела паранджа, пробралась сквозь толку к супа и поставила своего маленького сына у ног мингбаши:

— Возьми! Сам корми его, проклятый!

Еще несколько женщин последовали примеру первой. Казалось, крики и шум, поднимаясь к небу, заполнили все вокруг. Мингбаши отступил на несколько шагов назад. Джигиты взяли детей на руки и стали насильно отдавать их матерям, те не брали. Джигиты ставили их на землю или всовывали другим женщинам. Дети плакали, женщины рыдали.

Мингбаши не возмущался сыпавшимися на него проклятьями, ведь за каждой женщиной стояли десятки, сотни мужчин. Наоборот, он старался призвать их к порядку добрым, ласковым словом. Мингбаши поднял руку, призывая к тишине.

— Женщины! Послушайте меня! Не верьте смутьянам! Вы же знаете, что ваши родные ушли в мардикеры всего на какие-то пять-шесть месяцев и все как один до весны вернутся в кишлак.

— Все до одного умрут там! — крикнул кто-то из толпы.

— Не умрут...— сказал мингбаши,— Все мы мусульмане и не желаем друг другу зла. Я хочу предостеречь и предупредить вас, что лучше не шутить с царским правительством. Недавно один андижанский ишан пытался шутить с ним! Вы спросите, что из этого вышло, тех, кто видел собственными глазами. А если нет таких, я сам могу вам рассказать. Ишан пытался шутить с царским правительством, и из-за этой злой шутки одиннадцать человек пострадало — всех повесили!

Стоявшая впереди толпы маленькая сгорбленная старушка заплакала и запричитала:

— Правду он говорит. Было такое!

Мингбаши сошел с супа, взял старушку за руку и помог подняться на возвышение.

— Расскажи им, мать, пусть послушают.

Старушка испуганно посмотрела на мингбаши и, обернувшись к толпе, начала рассказывать:

— Правду я говорю... Одиннадцать человек повесили... И чтобы все видели, согнали на площадь женщин, стариков, детей — всех от мала до велика. И тогда у моего бедного Кенджабая сердечный припадок случился.

Только что возмущавшаяся вместе с толпой и требовавшая возвращения мардикеров, старушка не знала, кому она сослужила добрую службу своим рассказом.

Выступление муллы Шарафитдина и мингбаши и то, что их доводы во многом совпадали, успокоило женщин, а случай, рассказанный старушкой об андижанском ишане, подействовал на них магически.

Женщины потихоньку исчезли с площади. Большими хлопьями падал снег. Женщины, собравшись по двое, по трое в узких улочках и переулках, плакали.

Вернувшись домой, я рассказал отцу о том, что видел.

Говорили, что Мадраима, распустившего слух о мардикерах-дезертирах, сидевших в тюрьме, снова арестовали и увезли в город.

КАНУН

В начале марта кто-то привез из Коканда весть о том, что свергли белого царя и объявлена свобода. Все страшно обрадовались этому, хотя никто толком не понимал, что же будет дальше. И кишлак наш стал жить в ожидании чего-то необычного. Всем казалось, что после

таких событий скорее вернутся домой те, кого забрали на тыловые работы. И если это случится, можно ожидать и других благодеяний.

Проходили недели одна за другой, а от мардикеров никаких вестей. Наоборот, прошел слух, что снова набирают в мардикеры. Гудевший, как растревоженный пчелиный улей, кишлак снова притих. В конце апреля пришла радостная весть: «Мардикерам дали свободу!» Хотя никто не верил этому, все же родные и близкие мардикеров и даже просто чужие люди вышли на базарную площадь, к Учкунрику, к станции Багдад встречать джигитов, которые живыми и невредимыми должны были вернуться из «холодного ада». И никто не мог толковать, что мардикеры едут издалека и что за неделю им не добраться домой.

Спустя еще несколько дней кишлак облетела неприятная весть. Один из высокопоставленных кокандских чиновников якобы сказал: «Приедут только те, кого с почестями посадило в поезд царское правительство. А те, кто сбежал раньше времени, могут и вовсе не приехать». Народ прекрасно понимал, что он этим хотел сказать: мол, если приедет — хорошо, а нет — так и не ждите.

Так как в свое время сбор денег на мардикеров заметно прохудил карманы дехкан, зимой они не смогли как следует подготовиться к весенней вспашке и посеву.

Многие хозяйства надеялись на ушедших в мардикеры, но те не возвращались. Прошла весна, а высевать было нечего. Все знали, чем это может кончиться. Потому дехкане, имеющие в запасе зерно, и лабазники перестали продавать семена на базаре. К тому же народ с недоверием относился к бумажным деньгам, ходившим после свержения царя. «Что можно ожидать от нового правительства, которое нескольких пудов серебра не нашло на монеты, а вместо этого всучивает бумагу».

Али-лайлак не находил себе места от злости.

— Ты только подумай, нашел же время этот подлец белый царь слететь с трона, и угораздило его это сделать в самый разгар весны. А Чилан-кары и Эгамбердыбай, не зная, чем все это кончится, припрятали все свои денежки, никому копейки не дадут!

Цены подскочили. Дороговизна росла не по дням, а по часам. Вскоре на деньги невозможно стало купить даже хлеба.

В голод дехканин кое-как перебивается старыми запасами.

Трудней приходится ремесленнику. Из-за дороговизны нельзя

купить ни угля, ни железа. К тому же никто не шел в кузницу с заказами. Папа сидел без работы. И хоть бы какой-нибудь дехканин заглянул поточить нож.

Отец на всякий случай кузницу держал открытой. А мы с Кулялей с точильным станком за плечами бродили по улицам кишлака в поисках работы. Иногда нам везло. Куляля точил нож, а я крутил точильное колесо, а если мне становилось трудно, хозяин из жалости ко мне крутил колесо сам. За свою работу мы денег не брали, а получали натурой, лишь бы было что-нибудь съестное.

Мама каждый день поутру стелила перед нами дастархан, и мы пили чай, заваренный на высушенных листьях тутовника или кожеуре джиды. А однажды мама не выдержала, заплакала и упрекнула папу:

— Бессердечный вы, ничто не беспокоит! Сами-то вон как располнели...

Папа грустно улыбнулся:

— Лишь бы я один так полнел. Пусть бог убережет вас от такого ожирения.

Ведь мама не понимала, что папа опухал от голода.

Как-то папа привел домой черную стельную корову. Я узнал, что он выменял ее на револьвер, приобретенный им в пору, когда он еще был Зингер-баем. В придачу пана смастерил хозяину коровы три кочерги.

Почти каждый день в дома сельчан забирались воры и крали все, что попадалось под руку. Все чаще в разговорах на улице слышались слова «грабеж», «взлом». А на кокандской дороге объявились разбойники.

Пуще всего на свете мы берегли свою корову. Так дотянули до лета. Папа с Кулялей теперь ходили по окрестным полям, где росло много тутовых деревьев, и собирали тутовник. Эти приторносладкие плоды быстро надоели нам, и порой, даже когда подводило от голода живот, не хотелось смотреть на них. Мама стала выжимать сок из тутовых плодов и варить патоку. А я и на патоку не мог смотреть. При одном упоминании о ней меня начинало тошнить. Да и мой маленький брат Умарали, завидев косу с патокой, начинал громко реветь. Иногда Умарали шалил и не слушался меня, тогда я пугал его словами: «Сейчас вот накормлю тебя патокой» .

Пришла осень. Появились фрукты. Но голод не отступал. Я часто слышал, как взрослые говорили: «бедняга, умер, опухнув от голода», «отдал свою дочь в город», «жмых ели». Мне казалось, что песня:

*Что дешевле девушки?
Ты прикинь на денежки:
нынче вся тебе цена —
платье, что наденешь ты...—*

появилась именно в эти голодные дни.

К счастью, отелилась наша корова. Теперь у нас на дастархане появилась сметана, творог, кислое молоко, сыр... Иногда мы выменивали молоко на зерно. Жить стало полегче. Папа шутя говорил маме: «Держи корову крепче за хвост. Она нас, бедняжка, от нужды спасла!..»

В кузнице я уже не помогал, а все свободное время пас на лугу корову. Каждое утро мама завязывала мне в узелок кукурузную лепешку, и до вечера я пропадал на лугу. Кроме меня, там пасли своих коров еще несколько мальчишек. Мы часто тайком друг от друга сосали молоко у чужих коров.

В начале мая стали возвращаться домой мардикеры.

Их приезд совпал с эпидемией холеры в кишлаке.

В старом доме в конце нашей улицы жил многодетный старик Абдурахман. Он давно женил трех своих сыновей, пятерых дочерей выдал замуж — восемь семей, полный двор внуков и правнуков, целая махалля жила в одном доме. В течение одной недели из этого дома похоронили троих. Потом умер племянник старика, тот, что жил на базарной площади. Не успели справить поминки по нему, как умер сам Абдурахман. В кишлаке было беспокойно, как в загоне для овец, куда забрался волк. В мечетях полным-полно народу — все молились. Даже пана стал ходить в мечеть. Люди во всем видели плохие предзнаменования. Стали резать петухов, кричавших до рассвета, стрелять собак, царапавших когтями землю. Кто-то забыл перевернуть вверх дном носилки, возвращенные с кладбища,— люди чуть не растерзали того человека. А кто-то будто бы сказал: «У первого покойника, вынесенного со двора Абдурахмана, были скрещены ноги. Он весь род за собой потянет...» И тогда все близкие и дальние родственники Абдурахмана собрались на кладбище, чтобы раскопать могилу и поправить ноги покойнику. Мы, мальчишки, чтобы лучше все видеть, залезли на деревья. Из толпы, собравшейся у могилы, слышался плач. Сделав дело, люди быстро разошлись.

Не прошло четырех-пяти дней, как папа, вернувшись домой, сказал:

«Кажется, и вправду в кишлаке холера. Она унесла даже Исамиддина-элликбаши».

Смерть, как коршун, парила над кишлаком, выискивая жертву, и каждый день уносила по одной, а то и по две жизни.

Все чего-то ждали, никто из дома носа не высовывал. Умер наш сосед, чайханщик Хатам. Не нашлось никого, кто бы прочитал над ним заупокойную молитву, отнес носилки на кладбище, и труп пролежал до вечера.

И вот возвращение мардикеров как раз совпало с этими тревожными днями.

Каждый день отовсюду слышался плач — одни проливали слезы оттого, что умер кто-то от голода и болезни, а другие — от радости, что возвратился кто-то из близких.

До конца сентября опустели многие дома в кишлаке. Год был урожайным на фрукты. Ветви деревьев ломались от плодов, но никто их не трогал. Люди не ели их, боясь заболеть холерой.

Наконец земля насытилась трупами, и болезнь отступила. Осенью голод чувствовался меньше. Все постепенно приходили в себя, набирались сил. Большинство мардикеров вернулись. А по тем, кто не вернулся, стали справлять поминки.

Приехавшие из далеких кишлаков люди привезли с собой новые, никому не понятные слова: «ЛЕНИН», «БОЛЬШЕВИК». Что означали эти слова, мы узнали от неродного сына моей тети, Саидакбархона, приехавшего погостить к нам из Джарбулака.

Саидакбархон рассказал о том, что видел и слышал в городе, и мы просидели, слушая его, до поздней ночи. Мама несколько раз сердито посмотрела в мою сторону — гнала спать, назавтра мне надо было вставать рано. Но Саидакбархон рассказывал такие интересные вещи, что я досидел до конца, отгоняя с глаз сон, тихонько слюнявя веки.

Рассказывая о Ленине, Саидакбархон хвалил его за то, что он будто бы знает семьдесят два языка и что он сверг белого царя и приостановил войну с Германией, что его слова даже подействовали на германского царя, но, правда, Саидакбархон смеялся над тем, что Ленин хочет равноправия между людьми.

— Сразу видно, наивный он человек. Чуть подросток, уже в тень бога копье мечет. Пророк Намруд тоже так поступал, в самого бога стрелы пускал. А что из этого вышло? По велению бога один богатый, другой бедный, разве можно сравнять все пальцы на руке?

Несмотря на проливной дождь, Саидакбархон спозаранку ушел в соседний кишлак Вачкыр.

Дождь прекратился после полудня. Сквозь лохматые рваные облака проглянуло солнце. Вышли на улицу люди. Перед кузницей собралось несколько человек. Говорили обо всем: о погоде, о дороговизне. Папа сказал собравшимся, что Ленин хочет равноправия между богатыми и бедными. Али-лайлак задумчиво почесал затылок и спросил:

— Хорошо! А как он это собирается сделать? Богатых бедными сделать или бедных богатыми?

В разговор вмешался уста Нугман:

— Если бедного сделать богатым, баю плохо. Бая сделать бедняком, опять баю плохо. Видно, этот Ленин из бедняков-то сам! Наверное, он немало от богачей горя хлебнул?

И это желание Ленина уравниать богатых и бедных всем пришлось по душе.

Я все чаще слышал в разговорах взрослых слово «революция», сам, конечно, не понимая его смысла. Было ясно одно — народ постепенно стал понимать, что к чему. Баи стали бояться бедняков. И если случай с убийством юзбаши принес нашему кишлаку когда-то дурную славу, то теперь это же прославило Бувайди среди других кишлаков. А люди, которых угнали в город солдаты, стали называться героями. И если раньше папа помалкивал, когда кто-нибудь заводил разговор о соломорезке, которой на три части разрубили юзбаши, теперь он даже хвастался тем, что соломорезку сделал он.

Люди ждали чего-то волнующего. Чувствовалось, что эти разговоры и все происходящее вокруг — канун какого-то большого события.

Лето прошло в заботах и волнениях. Вести в кишлак приходили разные. Папа съездил в Коканд. Он почувствовал, что в городе беспокойно, все живут в ожидании чего-то, но открыто высказываться никто не решается.

Поздней осенью мы узнали, что в Ташкент приехал «правая рука Ленина» — Большевик. Не прошло и месяца, как Большевик оказался в Коканде. Никому не сиделось дома. Люди выходили на улицу, собирались в чайханах. И никто в кишлаке толком не мог объяснить, что же все-таки происходит. Старейшины кишлака куда-то исчезли. Чилан-кары съездил в Коканд и после приезда распространил слух о том, что будто начнут строить «мусульманабад» — город мусульман.

«Эргаша из Бачкыра на белом коне с почестями увезли в Коканд»,— сказал кто-то.

Бачкыр — соседний кишлак, а Эргаш был известным на всю округу вором, успевшим даже побывать в Сибири за свои темные дела. Потому все были страшно удивлены этим известием.

— Как? Главой мусульманабада будет Эргаш?

Прошло еще несколько дней, и в городе начались бои. Горели в Коканде дома, и отсвет их пламени был виден у нас в Бувайди. Каждый день вечером люди взбирались на крыши и смотрели на пожар. А потом мы узнали, что Эргаш вместе со своими джигитами бежал из Коканда.

Когда все улеглось, спустя дней десять после пожара папа съездил в Коканд проведать бабушку и дядю. В городе почти все сгорело — торговые ряды, крытый базар, дома, но среди народа царило спокойствие.

Папа обо всем виденном рассказал собравшимся у кузницы друзьям.

— Однако,— сказал папа, улыбаясь,— хорошие русские люди приехали теперь в Коканд. Встретишься с ним в узком проходе, так он тебе вежливо дорогу уступит. А если бы в этой войне победил Эргаш, не знаю, что с нами было бы...

Али-лайлак спросил папу:

— Болишбека не видел? Что он, интересно, за человек?

— Не видел,— ответил папа.— Но мне кажется, что Болишбек — это не один человек.

Через несколько дней в наш кишлак нагрянула банда Эргаша-курбаши. Его джигиты остановились в караван-сараях Ишана-бува, а сам курбаши расположился в доме мингбаши.

Папа отвез меня с мамой и братом к своему другу в кишлак Толлик. Он боялся, что Валихон-суфий не упустит случая отомстить ему за все. Стоило Валихону сказать Эргашу-курбаши, что папа дружил с русскими в синих фуражках, трудно представить, что с нами случилось бы.

ЛЮДИ, НЕ СОБЛЮДАЮЩИЕ ПОСТА

Эргаш вместе со своими джигитами покинул Бувайди в тот же вечер. Эту весть нам принес Али-лайлак. На другой день мы вернулись к себе.

На всякий случай, чтобы быть подальше от глаз Валихона, пана

подыскал нам новый дом в другой махалле, за кладбищем. И мы переехали туда. Маленький пятачок двора, окруженный высоким дувалом, напоминал высохшее дно хауза. Часть двора занимал айван. Мы привязали к столбу, подпиравшему крышу, нашу корову и телку. Когда закрыли небольшое окошко, выходящее на айван, в комнате стало совсем темно. Мама даже воскликнула: «Не комната, а могила!»

Папа стал искать помещение для кузницы, но долго не мог найти. Мы втроем — папа, Куляля и я — бродили по полям с точильным станком, точили серпы, ножи, за что нам платили продуктами.

Наступила урза, но никто в нашей семье не стал соблюдать поста.

Однажды мама на завтрак сварила пшеничную похлебку. Едва мы сели завтракать, подперев калитку палкой, как с улицы послышался топот и шум: через дувал к нам во двор перелезло несколько человек. Непрошенные гости кинулись в комнату и выволокли пану с Кулялей во двор, где, зло сверкая глазами, их ожидал Валихон-суфий. «Чтоб тебе самому страдать за свои нечестивые дела, ноганец!» - крикнул он и ударил папу толстой палкой по голове. От испуга закричал мой маленький брат Умарали. А мама, в растерянности накинув на голову скатерть вместо платка, стояла в дверях и приговаривала: «Болеем мы, все до одного болеем»,— и, подталкивая меня, говорила:

«Ну скажи им, что мы болеем!»

Похлебку, которую приготовила мама, налили в два горшочка и подвесили папе и Куляле на шею. Их повели на базарную площадь. Сквозь гомон толпы и плач детей доносился голос Валихона, который кричал: «Чтоб тебе самому страдать за свои грехи!» Проходя мимо нашей кузницы, я заметил Али-лайлака. Он встал и пошел следом за нами. Папу и Кулялю привели в чайхану. Собрался народ. Валихон-суфий взобрался на сури и обратился к собравшимся:

— Мусульмане, вы видите тех, из-за которых пострадали сотни людей нашего кишлака! За их грехи аллах ниспослал на нас такую страшную кару!..

Валихон, призвав на помощь все свое красноречие, свалил на головы «двух нечестивцев» все беды и напасти. Он закончил свою речь словами: «Бей вероотступников, тех, кто не соблюдает пост и не читит законов шариата!» Несколько человек вышли из толпы и угрожающе подошли к папе и Куляле. Я закричал от страха, боясь, что они сейчас станут избивать папу. Али-лайлак обнял меня за плечи и успокоил. Кто-то принес воды в пиале и побрызгал мне в лицо. Папу и Кулялю никто

не тронул. Али-лайлак что-то сказал тем, которые собирались побить Кулялю и папу, и они отступили.

Папу с Кулялей заперли в сарай. Все стали расходиться, и я побежал домой рассказать о происшедшем на базаре маме. Мама все еще стояла в дверях, с накинутой на голову скатертью, и каждому прохожему говорила: «Больной он был... и все мы болеем...»

Папу с Кулялей выпустили вечером. Их судили именитые люди кишлака. Грех Куляли, поскольку тот был еще несовершеннолетним, тоже взвалили на папу и наложили на него большой денежный штраф. Надо было срочно уплатить его, и папа на следующее утро занялся поисками денег. Дома, кроме коровы и телки, ничего не было. Оставив телку про черный день, папа продал на базаре корову и все свои кузнечные инструменты. У нас осталась только крыша над головой, и та не своя. Зато штраф был уплачен. Папа сказал, что поедет в город и попытается устроиться к кому-нибудь в подмастерья.

Несколько дней спустя мы узнали, что на одной из станций Наманганской железной дороги произошел бой. Оказывается, когда Эргаш-курбаши грабил эту маленькую станцию, со стороны Коканда прибыл полк солдат. Бой продолжался почти целый день. После того как перестрелка кончилась, мингбаши вызвал глашатая и велел объявить, чтобы над всеми лавками, магазинами, домами были вывешены белые флаги. В тот день ни у кого в доме не осталось ни одной белой тряпочки — в ход шли платки, холсты, старые чалмы. Флаги вывешивали над калитками и даже развешивали на деревьях.

А на следующий день прошел слух, что «на базарную площадь приедет сам Болишбек». Весь народ кишлака, от мала до велика, повалил на базарную площадь. Мальчишки сидели на деревьях, на крышах. Вечером в кишлак въехали всадники, человек пятьдесят. За плечами у каждого винтовка, на боку сабля, а на одежде вроде бы на солдат и не похожи. Невысокий коренастый мужчина в рубашке на выпуск, перепоясанный широким ремнем, на котором висел револьвер, поднялся на сури и обратился к собравшимся с длинной речью. О чем он рассказывал, я не понял. Только запомнил, что он часто употреблял слова: «Ленин», «кровопийцы-богачи».

Когда он кончил говорить, из толпы крикнули:

— Скажи, друг, а когда Болишбек-ака к нам приедет?

Выступивший стал что-то объяснять, но до меня долетали только отдельные слова. Вдруг я собственными глазами увидел, как он, ударив

себя в грудь кулаком, сказал:

— Я мусульманский Болишбек!

Всадники вскочили на своих коней. Тут рядом с мусульманским Болишбеком я увидел своего папу. Он о чем-то горячо ему рассказывал. Болишбек познакомил моего папу со своими приятелями, что-то сказал им. Затем сел на коня и поскакал мимо караван-сарая Ишана-бува в кишлак Толлик.

В толпе я быстро потерял папу и Кулялю из виду, но, когда вернулся домой, они, довольные встречей с Болишбеком, сидели и пили чай. Мама тоже была радостной. Папа за дастарханом рассказал, что поведал мусульманскому Болишбеку о том, как с ним обошлись Валихон и другие богачи, сказал, что ему, рабочему человеку, теперь трудно без инструментов, без работы. Болишбек выслушал его и приказал своим товарищам: «Пойдите и заставьте того, кто взял деньги у уста Абдукаххара, немедленно вернуть их ему. Иначе плохо будет тому человеку — я наполню его порохом через нос и подожгу...» Эти слова Болишбека мигом облетели весь кишлак.

Как оказалось, деньги, полученные от паны, суфий поделил между своими дружками. Валихону пришлось сидеть на улице, расстелив платок, собирая с дружков деньги. Вечером он их принес отцу.

Наутро вместо белых флагов над кишлаком затрепетали красные полотнища. Так как красной ткани не хватило, все белое срочно перекрашивалось в красный цвет. В лавках не осталось красной краски.

Папа радовался тому, что получил обратно деньги. Но он не подумал о том, что, если вдруг в кишлак вернется Эргаш-курбаши, Валихон не забудет выместить злобу.

Али-лайлак посоветовал папе немедленно уехать из Бувайди. У него в кишлаке Аккурган жил родственник. Али-лайлак согласился поехать вместе с папой в этот кишлак и помочь ему там устроиться.

МУХАММАДЖАН-КАРЫ

Аккурган был скорее похож на большой инжировый сад, чем на кишлак. Во дворе дома, где мы поселились, росло два инжирных дерева, и, несмотря на голод, никто не тронул их плодов, они висели на ветках, и сок желтыми янтарными каплями стекал с них на землю. Куляля узнал от кого-то, что хозяин этого дома и вся его семья умерли в прошлое лето от холеры. Пана отругал Кулялю,— если об этом про-

слышит мама, она начнет плакать и сетовать на свою горькую судьбу.

Посреди небольшого двора была разбита клумба. Все цветы на солнце без воды высохли. В доме были две большие светлые комнаты, в углу двора хлев. Мама, привязав теленка в хлеву, вышла и радостно, словно сбылась ее давняя мечта, сказала папе: «Давайте отсюда никуда больше не уезжать. Будьте впредь осторожны, ни с кем не спорьте, не пропускайте намаз».

Кузница была рядом с домом, на перекрестке трех дорог, напротив какого-то мазара, купол которого был украшен козлиной головой с рогами и бородой.

В кишлаке стояла тишина. Даже мухи не летали. Я оставался дома помогать маме по хозяйству, а папа и Куляля с точильным станком обходили соседние поля. Возвращались они поздно вечером и приносили в мешках зерно и муку.

Как-то вечером папа сказал, что в большой мечети открылась школа «усули джадид» — новометодная школа, где за три месяца обучают ребят грамоте.

На следующий день утром папа повел меня в новую школу. Когда мы подошли к мечети, навстречу нам вышел невысокого роста полноватый человек с короткой бородой и немножко раскосыми глазами. Он поздоровался с папой и, протянув мне руку, зажал мою ладонь в теплой пухлой своей ладони. От его внимания ко мне я вдруг почувствовал себя взрослым и радостно заулыбался. До этого никто из взрослых не здоровался со мной за руку. Это, оказывается, был Мухаммаджан-кары — учитель новой школы.

При слове «школа» мне сразу вспоминалась маленькая полутемная келья, Валихон-суфий с красной и длинной, как у общипанного петуха, шеей, чирикание ребят, зубривших свои уроки. Насколько Мухаммаджан не был похож на Валихона, настолько новая школа отличалась от старой. В большой просторной комнате стояли в ряд восемь парт, за которыми сидели ученики. Так как у нас дома из продуктов ничего не было, пана принес с собой немного денег. Но домла не взял их и даже обиделся на папу. Папа ушел. Мухаммаджан-кары усадил меня за парту и стал расспрашивать. Я рассказал ему о школе Валихон-суфия; о том, как пана забрал меня домой и учил грамоте сам, не по буквам, а по словам; назвал книги, которые читал мне папа. Перед тем как объявить перерыв, учитель представил меня ребятам. «Очень способный мальчик, в школу не ходил, а уже умеет читать. Дружите с

ним»,— сказал он. Мальчишки смотрели на меня с завистью. Все ушли на перемену, а меня домла попросил остаться.

— С завтрашнего дня я дам тебе книгу, тетрадь и карандаш, будешь учиться письму,— сказал он,— Ты чуть-чуть картавишь, но это можно исправить, стоит только поупражняться. Ну-ка, повтори за мной скороговорку!

Я повторил за учителем скороговорку, но сбился. Попробовал еще и опять сбился. И вправду, язык у меня не поворачивался быстро говорить слова, но почему-то этого до сих пор не замечали мои родители. А может, просто не обращали внимания. Чтобы на следующий день сказать скороговорку Мухаммаджану-кары быстро и хорошо, я упражнялся дома целый вечер. Мама была недовольна первым заданием, полученным мною в новой школе. Но, узнав, почему я ее зубрю, одну и ту же фразу, она начала благословлять нового учителя и даже научила этой скороговорке моего младшего брата Умарали. Утром, отправляясь в школу, я заметил, что папа, надевая сапоги, тоже оттачивает язык этой скороговоркой.

В школе хотя я и не смог быстро выговорить скороговорку, но повторил ее несколько раз не запинаясь. Мухаммаджан-кары научил меня новой скороговорке. А затем предложил мне почитать книгу «Устоди аввал» — «Первый учитель» — и кое-что из нее переписать в тетрадь. Вот когда я обрадовался, что прежде занимался с напой, читая вместе с ним книги, запоминая слова и записывая их на стенах. Теперь я мог легко прочитать учебник.

Не прошло и двух месяцев, как я прочитал «Гулыпани дилаф-гор» — «Страждущий цветник», «Болалар богчаси» — «Сад детей», «Ажойбул махлукот» — «Удивительный мир животных» — и уже понемногу одолевал книги Абдуллы Авлони, Тавалло, Суфизаде, Сидки, Завки, а из собрания сочинений Махмуда Бехбуди я даже переписал себе в тетрадь все письма.

Успевающие ученики получали от учителя специальные задания: например, Сатывалды занимался по книге Физули, Хатам — по книге Хаджихафиза, а Турсункул — по книге Бедиля. Давая им новое задание, Мухаммаджан-кары подзывал меня и усаживал рядом с собой.

Со слов учителя я понял, что мы, шестеро успевающих, с осени должны будем учить географию и историю. Но узнать, что это за науки, нам в ту осень было не суждено.

Наша школа помещалась в одной из трех комнат мечети, в другой

жил Мухаммаджан-кары, а третью занимали два брата, Кутбитдин и Хуснитдин, недавно приехавшие в наш кишлак. Это были дети известного Сайфитдина-хаджи из Бурмангита. Сначала оба брата учились в Коканде в медресе Бузрук-хаджи, потом некоторое время обучались в Бухаре, но наступили беспокойные времена, и они, забросив учебу, приехали в Аккурган. Братья были высокие, худые, с пушком над верхней губой; поверх длинных холщовых рубах они носили чапаны, головы обвязывали маленькой, похожей на инжир чалмой. Разговаривали оба тоненькими голосами, растягивая слова, будто читали Коран. Мечеть они произносили «месчеть», мальчишек — вместо «бала» называли «валад». Почему-то они отказывались жить в Бурмангите, в доме отца, который им перешел в наследство, а теснились в маленькой келье. Братья только и ждали случая, чтобы изгнать Мухаммаджана-кары из мечети. Кутбитдин мечтал занять должность суфия, а Хуснитдин — учителя школы. Мы, мальчишки, слышали, как они за глаза плохое говорили о Мухаммаджане-кары. Однажды, когда домла призывал к молитве, Кутбитдин, указывая на свои часы, сказал сидевшим рядом старикам: «На полчаса раньше назначенного аллахом времени к молитве призывает!» А Хуснитдин но секрету сказал отцу одного из наших мальчишек, будто суфий заглядывается на женщин, которые ходят к хаузу за водой. Кутбитдин как-то поинтересовался у нас, учит ли домла молитвам из Корана. После всех этих разговоров Мухаммаджан-кары стал перед азаном всякий раз спрашивать у Кутбитдина время, а спускаясь к хаузу на омовение, покрывать голову платком и после уроков оставлял нас учить молитвы. Братья не находили себе места оттого, что Мухаммаджан-кары безропотно «исправляется» на глазах, и искали повода, чтобы поссориться с ним.

Как-то в полдень, сидя в классе, мы услышали со двора мечети крики Кутбитдина и тихий ровный голос домлы. Я сидел у окна и видел, что там происходит.

— Не надо зря надрывать горло,— спокойно сказал домла Кутбитдину.— Господь бог наделил человека языком, и надо уметь пользоваться этим даром всевышнего.

Кутбитдин, засучив длинные рукава своего халата, махал перед носом учителя руками и что-то доказывал.

— Куда мы поедем, когда в этом кишлаке мечеть есть и школа! Мы на своем веку достаточно трудностей испытали, надо и по-человечески пожить. А вы заняли наше место. Разве вам недостаточно

тех денег, что получаете за свои труды, переписывая заявления и письма прихожан?

Домла покачал головой:

— Я приехал сюда не за хлебом насущным. Отец мой вполне состоятельный человек. Я приехал сюда сеять семена знаний среди людей.

Кутбитдин ехидно улыбнулся и сказал:

— Скажите лучше, что приехали сеять семена джадидизма. Скажите, что хотите сделать всех большевиками!

— Невежда! Джадид — это новый, усули джадид — новый метод, разве это святотатство?

Но Кутбитдин не слушал его.

— Ваш новый метод, ваша голова с чалмой, все ваши знания не стоят и одного камня святой Бухары!

Домла, ведя разговор, поглядывал на окна нашего класса, будто чувствовал нашу поддержку. Его глаза, и без того раскосые, совсем скосились от волнения. Но он, не меняя тона, сказал:

— Конечно, каждый кирпич святой Бухары — это знания, каждый камень — мудрость, но кошка, попавшая в сокровищницу, на золото не смотрит, а ловит мышь!

Мухаммаджан-кары повернулся и быстрыми шагами направился к нам, Кутбитдин только и успел крикнуть вслед ему:

— Неудобные богу слова!

Спустя четыре дня после этой стычки в школу пришел долговязый незнакомец, перепоясанный патронташем. Это был помощник главаря банды. Домла пригласил его зайти в свою келью, а когда они снова вошли в класс, я заметил, что домла выглядит бледным и растерянным. Помощник курбаши приказал нам сломать все до одной парты, а доски сложить в конце двора и сжечь их.

Сказав это, он ушел.

В тот вечер призыв к молитве своим тоненьким голосом кричал Кутбитдин.

Домла освободил занимаемую им комнату. Мы помогли ему перенести книги и все вещи в небольшую каморку неподалеку от мечети.

Я пришел домой и рассказал об этом папе. Но ему было не до меня. В тот день заболел мой младший брат Умарали.

ДВЕ СМЕРТИ НА ОДНУ ГОЛОВУ

Умарали с каждым днем становилось все хуже и хуже. Папа считал, что его болезнь от дурного глаза.

Умарали был крупным ребенком, озорным и не по возрасту смысленным. Папа каждый день, перед тем как уйти на работу, брал Умарали на руки, играл с ним и с удовольствием слушал его щебетанье. Мама, чтобы уберечь моего младшего брата от дурного глаза, пришила к его чапану и рубашкам черные бусинки-талисманы и по несколько раз в день окуривала малыша целебными травами.

В ту злосчастную субботу папа вышел из мечети с утренней молитвы и только направился в кузницу, как увидел, что Умарали дерется с соседским мальчишкой, который был намного старше его. Мой брат повалил мальчишку на землю и стал лупить его, оседлав, как коня. Вышедшие из мечети люди тоже видели это и удивились тому, как такой малыш смог справиться с мальчишкой намного выше и старше себя. Папа был уверен, что это они тогда и сглазили Умарали.

К вечеру брат заболел. Его сильно знобило. Не спадал жар и на следующий день. Умарали стонал и метался в постели. Иногда он просыпался и искал взглядом маму. А на маму было жалко смотреть: она вся исстрадалась, глядя, как мучается Умарали. Мне казалось, что мама боится остановиться: она, как безумная, все время металась по комнате. Папа, хоть и пытался утешить ее, сам не находил себе места: он то зажигал целебную траву, то уходил на улицу, подолгу задерживался там, искал совета у добрых людей, пытаясь найти успокоение и обрести надежду на исцеление Умарали.

Пришел к нам мулла в большой чалме и долго читал молитву. Он сказал пане, что надо зарезать какую-нибудь скотину, сделать приношение святым.

На следующий день пришла какая-то женщина изгонять игрой на бубне злых духов из Умарали.

Моему брату от этого лучше не становилось. Жар не спадал, и он метался в бреду, временами засыпая от усталости. Просыпаясь, широко раскрывал глаза и, словно пугаясь чего-то, бросался в объятия то к маме, то к отцу.

А потом пришел таиб, пощупал у Умарали пульс и приказал папе приготовить шашлык из свежей баранины. Куляля обежал весь кишлак и с трудом нашел небольшой кусок мяса. Папа разрезал баранину на несколько кусочков и приготовил шашлык. Он посадил Умарали на

колени и, взяв кусочек мяса, стал капать стекавший с мяса сок ему в рот. Все это время стонавший Умарали замолчал. Я обрадовался. Но папа вдруг встрепенулся, шлепнул себя по лбу и громко зарыдал. Мама, кажется, сразу не поняла, в чем дело. Она подбежала к отцу и выхватила из его рук Умарали. Через мгновение я уже слышал ее крик. Я стоял, боясь пошевелиться, обняв столб, подпиравший айван.

Папа все шлепал себя по лицу и беззвучно рыдал, какими только можно словами проклиная святого Шахимардана и остальных святых.

На крик и плач сбежались соседи. Какая-то старушка пыталась успокоить отца, который все продолжал сыпать проклятиями.

— Хай-хай, сынок! Все от бога всемогущего, не надо так говорить, а то гяуром станешь!..

Папа, как безумный, кинулся к полке, на которой лежал Коран, и, схватив его обеими руками, с размаху бросил на землю.

— Вот гяур!..— крикнул он и, не удовлетворившись этим, нхнул ногой Коран так, что пестрый переплет полетел в одну сторону, а сам Коран в другую,— Вот гяур!..

Старушка с криком бросилась к святой книге и накрыла ее своим телом.

Папа же, выхватив нож, воткнутый в столбик террасы, со всех ног побежал в хлев, выволок оттуда теленка, поднял его за ноги и, повалив на землю, полоснул по горлу ножом.

— Вот гяур!.. Мясо собакам брошу!..

Теленок в предсмертной агонии вскочил на ноги и, качая свернутой набок головой, побежал, ударился о дувал, упал и затих. Весь двор, дувал и сам папа были забрызганы кровью.

Только тут я заметил, что во дворе у нас много людей — мужчин, женщин, детей. Мужчины кинулись к папе, который, словно обезумев, все еще продолжал поносить святых, и усадили его в сторонке.

Женщины взяли из объятий мамы, лежавшей без сознания, Умарали и унесли его в комнату. Кто-то подал маме в пиале воду...

К вечеру Умарали унесли на носилках. Я сидел рядом с мамой, которая все еще не приходила в себя. Женщины плакали в голос.

Мама очнулась только на другой день.

Папа, с трудом сдерживая подступавшее к горлу рыдание, успокаивал маму, говорил, что от судьбы никуда не уйти.

Через неделю после похорон Умарали, когда в доме все немного успокоились, я ходил в школу проведать Мухаммаджана-кары. Школу

нашу перевели в другое помещение, в чью-то заброшенную конюшню за мечетью. Занимались теперь только по хафтияку, читали Коран и каждый день после занятий водили ребят в мечеть молиться.

Новый учитель ввел новые законы — за каждую провинность лупил ученика. Как-то, читая Коран, я ошибся, не так прочитал слово, за что сразу же был награжден пощечиной. От досады я ущипнул проклятое слово в книге и прорвал страницу. Учитель заметил это и наказал меня вторично.

Всю осень до наступления холодов мы занимались во дворе, а потом перебрались в конюшню — разжигали небольшой костер и рассаживались вокруг. Учитель заставлял нас читать Коран громко, хором.

До зимы я вызубрил треть Корана.

А в один из весенних вечеров папа подъехал к дому на арбе и с тревогой в голосе сказал:

— Эргаш-курбаши, говорят, правительству бросил вызов и предложил выбрать место, где бы они могли помериться силой. И правительство дало согласие сразиться с ним в Аккургане. Не сегодня-завтра здесь начнется война. Если мы не уедем в Коканд, плохо нам придется. Ну-ка, собирайтесь, пока не поздно, надо скорей бежать.

Мама заплакала.

— Куда я пойду, не проведя поминки по Умарали? И долго ли еще буду оставлять могилы своих детей без присмотра! Будь проклято ремесло кузнеца!

У меня тоже испортилось настроение, я всплакнул. Мне казалось, что, если мы сейчас уедем в город, Умарали встанет из могилы и будет глядеть нам вслед. Куляля тоже плакал.

Папа успокоил всех:

— Ну кто такой Эргаш? Какой-то несчастный вор, бежавший из Сибири. Ведь он долго не сможет сражаться с правительственными войсками, если у него нет оружия, патронов. Всыпят ему разок, он и побежит. Тогда мы и вернемся в кишлак. На всякий случай нужно забрать с собой «Зингера», эти не постесняются грабить и дома бедняков.

Так как в доме, кроме «Зингера», ничего стоящего не было, мы сели в арбу, прихватив с собой швейную машину, и отправились в Коканд.

Мама спрятала «Зингера» под паранджу, чтобы никто ее не видел.

Но настоящую причину поспешного отъезда папы из Аккургана мы узнали в городе. В кишлаке все было спокойно. Эргаш-курбаши

обосновался в Бачкыре, где и готовился дать бой правительственным войскам. А папе приказал приехать к нему помогать делать оружие. Об этом папу известил помощник Эргаша и дал два дня сроку для переезда в Бачкыр. В среду он обещал прислать арбу.

Поняв, что теперь вряд ли мы вернемся в Аккурган, мама начала плакать, рвать на голове волосы. Ей казалось, что Умарали в день поминания встанет из могилки и будет печально смотреть на дорогу, по которой мы уехали в Коканд. И это было бы равносильно второй его смерти.

Папа, чтобы не загружать арбу, ничего с собой не взял, даже свои инструменты он оставил в Аккургане.

СРЕДИ РАЗВАЛИН КОКАНДА

В Коканд мы въехали рано утром. Мама сразу начала плакать и причитать, у нее не было желания жить в доме дяди. Она толкала меня в бок и шептала: «И ты плачь, скажи, что не хочешь ехать к ним». Плакать мне не пришлось, папа и так согласился с ней. Он решил остановиться у своей сестры, которая жила в махалле Кумир-базар.

От Дегреза до Кумир-базара мы ехали мимо развалин. По обе стороны широкой улицы стояли сгоревшие лавки, разрушенные домики. От крытых торговых рядов и магазинов на площади Чорсу и следа не осталось. Люди занимались торговлей возле уцелевшей соборной мечети. И напротив, на базарной площади, продавали старье, посуду, какие-то железки, полуобгоревшие доски, старые одеяла. Много было нищих...

Мама, хоть и согласилась остановиться у тети, однако всю дорогу твердила:

— Уста Мумин сам обременен семьей. Разве не совестно быть нахлебником у людей в такое голодное время! Ничего у нас нет — ни кузницы, ни работы...

Папа успокоил ее. Он сказал, что кузнец никогда не пропадет с голоду, для него работа всегда найдется.

Махалля Кумир-базар тоже сгорела — кругом разрушенные дувалы, у мечети Мадрасаихон обвалился портал, у многих домов нет дверей — чернеют только полуобгоревшие дверные рамы. К счастью, дом тети не пострадал. Он стоял в глубине улицы.

Мама, как только вошла во двор, обняла тетю и заплакала. Не

удержалась и тетя, а глядя на них, стали плакать и ее дочери. Папа прочитал молитву из Корана, и все угомонились. Потом отец что-то сказал маме и ушел на улицу.

В обед тетя сварила целый казан супа из лошадиных костей.

— А мы раньше и не знали, что из конины вкусная шурпа получается,— сказала она.— Живем мы теперь хорошо. Правительство велело нам объединиться, а объединившимся хлебные карточки дадут. Вот мы и объединились. Каждый день по одной или полторы буханки хлеба стали получать.

Принесли шурпу. Тетя разбила молотком четверть сухой черствой булки и несколько кусков положила на дастархан. Остальное она убрала. Мы ели суп, размачивая в нем сухари.

После обеда мама с тетей, завернув оставшийся хлеб в узелок, отправились проведать бабушку. Ульмасой, старшая дочь тети, повела меня, Кулялю и двух своих сестер осматривать город. Ходили мы на Балтакуприк, Гишткуприк, а дальше побоялись идти. Ульмасой сказала, что в те районы часто навевываются басмачи. Правда, стоит им услышать заводской гудок, который служил сигналом сбора для красноармейцев, они быстро исчезали.

Когда мы вернулись обратно, Ульмасой предложила сходить во двор мечети Мадрасаихон. Там голодным раздавали еду. Я впервые видел такое скопление народа — женщин, стариков, худых и оборванных детей. У каждого в руке миска. Ульмасой сказала, что она со своими сестренками ходит сюда обедать каждый день. Она откуда-то раздобыла большую глиняную чашу. В углу у дувала сердитого вида дядька, разливавший из огромного чугунного котла похлебку, пересчитал нас и налил пять половников супа. Мы уселись в сторонке и поочередно, запрокидывая чашу, ели похлёбку через край.

Когда мы, пообедав, пришли обратно, мама с тетей уже были дома. Я заметил, что у мамы покраснели и опухли веки. Причину этого я узнал, когда возвратился папа. Моя бабка, вместо того чтобы приветливо встретить маму, успокоить и утешить ее добрыми словами, стала ворчать:

— Что можно было ожидать от ребенка, рожденного в больнице?!

Вечером вернулся с работы уста Мумин, муж моей тети. Оказалось, что уста Мумин вступил в члены профсоюза. Дядя посоветовал папе тоже вступить в этот союз. Член профсоюза работал в своей кузнице,

государство давало ему уголь, железо, а то, что кузнец изготавливал, он должен был сдавать государству, за что получал хорошую зарплату, хлебную карточку и три аршина ситца в месяц. У папы не было ни кузницы, ни инструментов. Идти ему к кому-нибудь в подмастерья не позволяла гордость.

У уста Мумина семья из пяти человек, да нас четверо. Хотя наше присутствие не обременяло их, но в народе говорят: «Гостю почет день, другой, а потом собирайся домой!» Папа уходил на поиски работы рано утром, а появлялся поздно вечером усталый, злой. Мама начинала пилить его:

— Хоть бы Кулялю куда-нибудь пристроили!

Куляля и так, как мог, помогал уста Мумину, но хлебной карточки у него не было. Я думаю, что папе не хотелось терять своего ученика.

Через неделю нас разыскал Додарходжа — старший брат Куляли.

С тех пор как его выслали из Кудаша за драку с перекупщиком, он некоторое время работал в Коканде грузчиком, потом в Тухлимергане, затем в Ганджираване на маслобойне, а когда война кончилась и в городе наступило спокойствие, Додарходжа отправился в Коканд искать своего брата. Отсюда поехал в Бувайди, не найдя нас там, опять вернулся в город, да так и остался здесь работать водоносом. Он был рад тому, что наконец разыскал брата. Додарходжа сказал нам, что собирается уехать в Каратегин. Не скрывая своей радости, он говорил о происходящих переменах и, не отговори мы его, тотчас же отправился бы в Кудаш на розыски старосты и Туракула, с которыми давно мечтал свести личные счёты.

Папа, недолго думая, продал «Зингера» и половину вырученных денег отдал Куляле. Уста Мумин, уста Хамиджан, уста Адокул и дядя подарили Куляле по инструменту, необходимому в кузнечном ремесле, и благословили его словами: «Да поможет тебе святой Дауд, покровитель всех кузнецов!» Братья были вне себя от восторга.

Дорога в Каратегин лежала через горный перевал, и Додарходжа с Кулялей решили на рассвете двинуться в путь. Уста Мумин принес им с работы бумагу, чтобы они смогли доехать на поезде хотя бы до Хаваса. На поезд без специальной бумаги не сажали. Утром на станцию провожать Кулялю и его брата отправились дядя с папой. Я тоже пошел с ними. Долго сидели в зале ожидания. Наконец уста Мумин поговорил с кем-то из начальников и достал братьям билеты. Ни разу в жизни не ездившие в поезде, они поспешно полезли в красный вагон и

прильнули к окну. Когда поезд тронулся, я увидел на глазах у Куляли слезы.

Через три-четыре дня после отъезда Куляли пана нашел нам комнату в Кипчакарыке. Так как у нас ничего не было, тетя дала нам одеяла, подушки, кто-то из знакомых подарил посуду, и мы переехали в новое жилье, которое оказалось поблизости от дядино дома. Это была бывшая гостиная торговца мануфактурой Мухаммадраджаба. Комната была чистая и светлая, раньше в ней жили русские — стены побеленные, пол деревянный, а под потолком висела керосиновая лампа.

Папа уходил на работу рано. Днем, урвав время, приносил нам буханку хлеба и немного еды в котелке. Возвращался он поздно вечером. От нечего делать я целыми днями бродил по двору. Иногда я отправлялся в гости к двоюродному брату Гаффарджану. Я его до сих пор не любил, но вместе все же было веселей: мы с ним играли в разные игры. Но произошли два таких случая, после которых я перестал с Гаффарджаном водиться.

Как-то он повел меня на железнодорожную станцию. На том месте, куда мы пришли, видно, раньше были лавки и магазины. Указав мне на небольшую горку, Гаффарджан сказал, что она меловая, стоит только немного раскопать сверху землю. Горка уже была подрыта с одной стороны. Мы спустились в эту яму и стали копать. Я быстро набрал несколько кусочков мела и только собрался вылезти из ямы, как откуда-то появился мужчина в фуражке с блестящим черным козырьком. На боку у него висел револьвер. Одет он был в черные брюки-галифе и рубашку навыпуск. Испугавшись, что он сейчас отругает нас, я выкинул мел и, отряхнув руки, встал. «А-а, милиционер!» — пренебрежительно сказал Гаффарджан и, не обращая внимания на мужчину, продолжал заниматься своим делом. Милиционер, а это был он, присел с краю ямы и заговорил с нами. Он поинтересовался, откуда мы, кто наши родители. Гаффарджан сказал, что он сын кузнеца Абдурахмана из махалли Кипчакарык. Я назвал имя моего папы, но где он работает, не смог ответить. Милиционер, подхватив меня под мышки, вытащил из ямы и, усадив рядом с собой, стал расспрашивать.

— Почему папа не купит тебе хорошей одежды? — спросил о.н.

Только теперь я заметил, что одет намного хуже Гаффарджана.

— У папы нет денег, — ответил я.

Кажется, он не поверил тому, что у меня есть родители, и все

пытался выяснить, откуда же я. Я обернулся, чтобы призвать Гаффарджана в свидетели, а его и след простыл.

— Я сейчас тебя в одно хорошее место отведу,— сказал милиционер,— Там досыта накормят тебя, обуют, оденут, учиться будешь...

Я заплакал.

— Не пойду я никуда! Не хочу учиться! Я уже учился в школе!..— кричал и упирался я.

Но милиционер и не думал меня отпускать. Я попытался бежать, но он так крепко схватил меня за локоть, что, не в силах вырваться из его рук, я, плача, пошел с ним.

Мы долго шагали по каким-то тихим полуразрушенным улицам и подошли к огороженному деревянным забором двору, где у входа стояли навытяжку двое мальчишек с палками на плечах. Они держали палки так, как будто это были винтовки. Первое, что я подумал, увидев их,— не вырваться мне оттуда, если войду в эти ворота.

По двору с шумом и криками носились мальчишки. Мы прошли мимо ребят и вошли в двухэтажное здание. Милиционер передал меня пожилой женщине-татарке, которая сидела рядом с маленьким мальчиком на ступеньке лестницы и пыталась успокоить его, а сам ушел. Мальчишка плакал и, утирая рукавом слезы, повторял:

— Не хочу учиться в школе для голодных детей!..

Женщина гладила его по головке и ласково говорила:

— Кто тебе сказал, что это школа для голодных детей? Это же детский приют!

Но и это не успокоило мальчишку, и он все плакал. Я стоял рядом и тоже плакал.

Потом женщина куда-то увела мальчика, и я остался один. Когда чуть стемнело, я незаметно вышел во двор, перелез через забор и побежал домой.

Дома все были обеспокоены моим отсутствием. Но ни папа, ни мама не ругали меня, а когда я рассказывал им о том, как милиционер отвел меня в детский приют, они улыбались.

С Гаффарджаном я не виделся целую неделю, да и видеть его не хотелось. Я подружился с другим мальчиком. Звали его Мамаджаном. Отец Мамаджана, Кулмат, был красноармейцем и хорошо знал моего папу.

Мамаджан повел меня в магазин за старой мечетью. Там давали

кукурузу. Он познакомил меня еще с другими ребятами из нашей махалли. В магазине я встретил и Гаффарджана. Когда, получив кукурузу, мы возвращались домой, Гаффарджан вдруг сказал, что он женился. Никто из ребят не поверил ему. «Как же ты прокормишь свою жену?» — смеялись над ним мальчишки. А Гаффарджан важно вышагивал впереди нас и все твердил:

— Я женился! У меня дома жена есть!

Один из мальчишек, который, видно, позавидовал ему, сказал :

— Он сам, что ли, женился? Его папа женил!

— Всех же папа женит. Ничего тут нет удивительного.

— А жена это твоя собственность? Что хочешь можешь с ней делать? Даже отлупить? — спросил кто-то из ребят.

— Могу!.. — сказал Гаффарджан хвастливо. Я не только отлупить, а даже убить могу!

Мальчишки, не веря ему, стали поддразнивать:

— Хвастаешься!.. Хвастун!.. Хвастун!..

И Гаффарджан тут же позвал нас домой, обещая на наших глазах отлупить свою жену. Гаффарджан вошел во двор, а мы расположились на своих наблюдательных пунктах: кто сидел на дереве, кто на заборе, я смотрел через щель в калитке. Посреди двора старшая дочь Абдураззака-сапожника, Амина, мыла голову. Она из кувшина лила воду себе на волосы, намазанные кислым молоком. Гаффарджан подошел к ней сзади и ударил рукой по голове. Амина от неожиданности вздрогнула, вытаращила глаза и, бросившись на обидчика, вцепилась ногтями ему в лицо. Гаффарджан поднял ногу, чтобы пнуть ее, но Амина ловко поймала его за кавуши, и он грохнулся со всего размаха на спину. Но тут же вскочил и, разозлившись, схватил Амину за волосы. Вот была драка... Вот была потасовка... Мы от страха, что на шум сбегутся взрослые, пустились врассыпную.

Придя домой, я рассказал о драке Амины и Гаффарджана маме.

Она посмеялась и предупредила:

— Не рассказывай никому об этом. Стыдно будет!

Как потом я узнал, мой дядя после смерти своей жены женился на вдове Абдураззака-сапожника, Нисобуви, а его старшую дочь сосватал сыну.

Мне ужасно не нравились глупые проделки Гаффарджана: то он убежал, оставив меня с милиционером, то подрался с Аминой. После всего этого я перестал дружить с ним. Я не любил их дом, потому что с

ним у меня были связаны плохие воспоминания: почему-то перед глазами появлялись носилки с телом Савринисо, ее больная мать, Азимзаика, катящий впереди себя тачку. А Гаффарджан почему-то представлялся мне маленьким старичком с длинной до земли бородой.

Наступила теплая осень. Однажды вечером папа принес домой две дыни. На голове у него была, как тогда ее называли мальчишки, «центр шапка» с красной звездой и заостренным верхом. Он был в черной рубашке и огромных солдатских сапогах. Я даже вскрикнул от радости. А мама просто онемела. Папа сел, достал из кармана нож и разрезал одну из дынь.

— Когда я каждый день приносил тебе еду, ты не удивлялась и даже не интересовалась, откуда я беру все это. А теперь, глядя на шапку, удивляешься!

Мама заплакала:

— Что мы будем делать, если вы уйдете на войну?

— Я никуда не уйду. Война идет здесь, в городе. Ты разве не слышишь, что только и говорят о том, что басмачи напали то на Ходабазар, то на Бакачорси, то на Дегрез... Если и пойдем куда, так не дальше окрестностей. Вот если бы в Яйпан, Кудаш или Бувайди пойти!.. Если пойдем в Аккурган, я тебя с собой возьму, а то на могилке бедняжки Умарали никто и не всплакнул до сих пор..

Мама перестала плакать. Она вдруг вскочила и, накинув на голову паранджу, выбежала на улицу.

— Куда ты? — только и успел крикнуть папа.

Я выскочил следом за ней. Она, убыстряя шаг, направилась по берегу речки к дядиному дому и исчезла за калиткой. Я постоял на мосту и, не дождавшись ее, поплелся домой. Мама возвратилась не одна. Она привела с собой дядю Абдурахмана. Не успев переступить порог, дядя набросился на отца:

— Ты что?! В своем ли уме! Что, если шальная пуля в тебя угодит? Вставай и немедленно иди сдай свою шапку!

Папа молчал, словно набрал в рот воды. Дядя постоял, поругался немного и ушел. Я думал, что папа начнет ругать маму за то, что она привела дядю, но он ничего не сказал. Мама печально смотрела на папу, и из глаз ее катились горькие слезы.

Поздно вечером дядя снова пришел к нам, на этот раз с уста Хамиджаном. Они сели по обе стороны от папы, и папа рассказал им о том, что уже днем говорил маме. Уста Хамиджан тоже возмущался тем,

что папа записался в красноармейцы.

Он сказал:

— А что делать с солдатом, как не посылать его на войну?! Просто так кормить?! В Ашхабад, говорят, англичане пришли, каждый день туда солдат отправляют. Я собственными ушами слышал, как они, шагая на станцию, пели песню:

*Разве может быть такое,
чтобы не было покоя?!
Мы прогоним англичан,
не видать им Туркестан!*

Не знаю, то ли на папу подействовала эта песенка, то ли ему не хотелось обижать маму, но он ни единым словом не возразил.

Прошла неделя, потом другая, а папа так и не сдал «центр шапку». И тогда дядя с мамой решили вместе сходить на Урду, в штаб красноармейцев, и плачем и уговорами забрать папу обратно. Раза два мы ходили туда, но, так и не узнав, куда войти и к кому обратиться, ни с чем возвращались домой. В эти дни басмачи чаще стали налетать на окрестные кишлаки, несколько раз была сильная перестрелка. Папа, хоть и участвовал в этих боях, нам ничего не рассказывал.

Тем временем стали формироваться конные отряды и пехотные части. На весь город прославились начальники и командиры: Саттихон, братья Хасан и Хусан Эрматовы, Султан Абдурахманов, кузнец Кузивой Рахманов из нашей махалли, Нишан Ризаев, выучившийся на командира в Ташкенте и участвовавший в ашхабадской войне, и другие. Дядя после этого перестал ругать папу.

В начале осени меня отдали в новую школу, которая открылась в Каландархане. А маму папа устроил на шелкомотальную фабрику «Мандалак». Маме, вся жизнь которой прошла в четырех стенах, на фабрике очень понравилось.

— Одни женщины там работают, и работа не тяжелая, только радуешься ей.

Маме дали карточки на хлеб, на керосин и на рыбу.

В первый же день, когда я пошел в новую школу, молодой учитель, которого звали Мелибай-домла, разучил с нами песню. Мы даже записали ее в тетради.

*Вставай, поднимайся, трудящийся люд,
твоя наступила нора.
Сегодня твои палачи не уйдут
от сабли и от топора...*

Я вспомнил, что где-то уже видел нашего молодого учителя. Он, оказывается, когда-то учился в школе, в которую ходил Гаффарджан.

В новой школе я проучился всего месяца. Однажды, когда мы сидели на уроке, со стороны Шайхулислама послышались выстрелы. Занятия прервали, и нас отпустили домой. Все преподаватели, похватав винтовки, которые стояли у стены в учительской, выбежали на улицу.

Не надо было мне рассказывать об этом маме. Она стала плакать и уговаривать папу, чтобы он забрал меня из этой школы.

— Зачем единственного сына в такую беспокойную школу отдали?! Там все учителя солдаты, оказывается! Что будет, если на школу нападут басмачи?

Папа не стал возражать ей. Через несколько дней он отвел меня в школу, которая называлась «Истикбал» — «Будущее». Школа занимала огромное здание — бывший байский дом. Ребятам в ней учились много. Только из нашей махаллы там учились: сын красноармейца Кулмата — Мамаджан, сын Темирбая-кондитера — Пулатджан, сын Расула-сапожника — Салимджан, сын Рузимата, торговца маслом, — Хусан, сын татарина Хандана — Хасан и мой двоюродный братец Гаффарджан.

Хакимджан-домла, так звали директора нашей школы, высокий, красивый мужчина с гладко зачесанными черными волосами, преподавал нам естествознание; Пулатджан-домла преподавал арифметику и географию; Абдувосе Каюми — математику и пение; Абдулладжан Каримов — физвоспитание; Насыр Закири — родной язык; русская женщина по фамилии Карпова — русский язык; кроме перечисленных учителей, были еще два преподавателя-татарина. Все учителя ходили в военных гимнастерках.

В конце зимы нашу школу посетили старики. Хакимджан-домла принял делегацию аксакалов в своем кабинете. Через некоторое время, проведив их, он зашел к нам в класс и сказал, что старики приходили узнавать: учимся ли мы в своей школе письму из Корана. И пригрозили: «Будете учить их Корану — хорошо, а нет — мы заберем своих детей из вашей школы». Стариков, оказывается, напугал поднятый в Ташкенте

вопрос о новом правописании. Сторонники нового правописания считали, что их метод облегчает борьбу с неграмотностью, и предлагали, например, такие изменения: если слово в старом правописании пишется «мкѣб» — школа, «млм» — учитель, в новом писать «макѣб», «муаллим», с гласными буквами. Это, конечно, влекло за собой изменение шрифта и противоречило письму Корана. Хакимджан-домла просил передать нашим родителям, что с завтрашнего дня будет введено чтение Корана.

Раньше уже многие ушли из школы. Узнав о том, что снова ввели чтение Корана, они все вернулись обратно. Каждую субботу и вторник мы изучали Коран. Этот урок у нас вел преподаватель родного языка Насыр Закири. Он не просто заставлял зубрить Коран наизусть, но и объяснял значение каждой фразы.

Еще учась в Аккургане, я почти до половины выучил Коран; правда, не мог разъяснить прочитанного, и, может быть, поэтому каждое слово в Коране производило на меня сильное впечатление. Когда я читал такую фразу: «Сабѣа самовотун тибоко», по телу пробежали мурашки, а это всего-навсего, оказывается, означало: «Семь слоев неба». Мне стало смешно оттого, что я разгадал тайну Корана, и теперь он потерял для меня свою загадочность.

Как-то после занятий долговязый парень в серой шинели, какую носили красноармейцы, собрал всех старшеклассников и рассказал о Коммунистическом союзе молодежи, членов которого Ленин называл своими детьми. Парень раздал всем анкеты с вопросами. Мы тут же заполнили их и сдали ему.

Спустя несколько дней один из наших преподавателей повел тех, кто заполнил анкеты, к большому серому двухэтажному зданию в старом городе. Его построили на месте сгоревших во время пожара торговых лавок и магазинов.

Мы поднялись на второй этаж. В светлом просторном зале было много ребят и из других школ. Молодой парнишка, видно, член союза молодежи, вышел на середину зала и стал рассказывать о басмачах, о войне, о голоде и объяснил собравшимся задачи, стоящие перед коммунистической молодежью. Он раздал нам жестяные коробочки и красные повязки. Нам надо было накануне первомайского праздника пройти по базарам, чайханам, собирая в эти коробочки пожертвования в пользу голодающих.

Город я знал плохо и поэтому увязался за Мамаджаном. Мы пошли с

ним на площадь Чорсу, где всегда было многолюдно и оживленно. Мамаджан заташил меня в чайхану рядом с соборной мечетью. Слово «пожертвование» совсем вылетело у нас из головы, и мы никак не могли его вспомнить. Но, слава богу, Мамаджан не растерялся и, держа коробочку в вытянутой руке, жалобным голосом сказал: «Дайте деньги голодным!» Люди бросали в наши жестянки монеты, а один седобородый старик, долго роаясь в своем кармане, сказал:

— Надо говорить «не дайте деньги голодным», а «окажите помощь голодающим»!

Так мы обошли всю площадь Чорсу. Потом стали обходить базары, и к вечеру, когда наши жестянки были полны, мы отнесли собранные деньги нашему представителю в то серое двухэтажное здание. Он нам дал новые коробочки, а эти убрал в стол.

Майские праздники народ гулял четыре дня. Мы с Мамаджаном за эти дни собрали много денег. Так как мы свои задачи выполняли хорошо, нам разрешили собирать пожертвования только в базарные и праздничные дни.

Однажды Хакимджан-домла послал шестерых из нашего класса в педучилище. Я много хорошего слышал об этом училище. Когда его ученики, чеканя шаг, проходили по улице с песней, любо было на них смотреть. Они пели:

*Мы народ трудовой,—
дети семьи людской.
Скажите, почему же баи
держали нас под пятой?*

На длинной, во всю ширину здания, террасе собрали членов союза молодежи. Рыжеволосый парень с голубыми глазами, Хаджи- курбан Касыми, сидел за столом, покрытым красным сукном, и вручал каждому удостоверение и на троих выдавал по одному свистку. Мы — я, Мамаджан и Шарифхан — тоже получили свисток.

Я раскрыл синенькую книжечку и прочитал:

«Дано сие удостоверение Абдулло Каххори в связи с тем, что упомянутый товарищ является представителем Коммунистического союза молодежи г. Коканда для ведения учета трудовой молодежи.

Сие удостоверяется подписью и печатью.

Председатель. Секретарь».

После того как всем раздали удостоверения и свистки, нам объяснили наши задачи.

Трое комсомольцев образовали бригаду, один назначался командиром. Бригада должна была обойти дома в своей махалле и взять на учет ребят от четырнадцати до восемнадцати лет, которые работали батраками; второе — обойти все чайханы, где собираются кухнарщики, и сообщить о них в милицию; и третье — если где выдавали девушку рано замуж, немедленно доложить в штаб, а в случае оказания нам сопротивления свистком вызвать на помощь милиционера. Когда заговорили о раннем замужестве, мне сразу вспомнилась Амина, я тут же хотел рассказать о ней, но, побоявшись родителей и дяди, промолчал².

На руках у нас повязки, один свисток на троих, и мне теперь казалось, что нет никого сильнее нас в городе.

Обходить дома надо было начинать в пятницу. Не знаю, как повезло другим бригадам, но мы не встретили ни одной девушки, рано выданной замуж. А батрака, обойдя несколько кварталов, нашли только в Исфаре. Зато чайхан, где собирались кухнарщики, хватало, только у большой мечети мы взяли на учет пять чайхан.

Прошли слухи о том, что нашу школу превращают в интернат. Гаффарджан, сын Темирбая-кондитера Пулатджан, сын Ак-домлы Абиджан ушли в другую школу. Исчез куда-то и мой лучший друг Мамаджан. Даже не спросив разрешения своих родителей, я остался в школе-интернате. Пришел к нам дядя и поругался с моим отцом: «Неужели ты не в силах воспитать единственного сына, что отдаешь его на воспитание государству!» Мама встала на сторону дяди, но папа убедил их: «Я могу не отдавать сына в интернат, но ведь, если он нужен будет государству, оно и так его возьмет!»

Директора нашей школы Хакимджана-домла перевели на работу в ревком, а вместо него назначили Абдувахаба-домла. Ребят всех одели в синюю форму. Новый директор установил в школе железную

² Хорошо, что я тогда промолчал. Когда я напомнил об этом маме, она отругала меня: «Ты что?! Хотел поссорить нас с дядей?» Но я все же не забыл этой истории. Прошло около семи лет, и, начав свои первые шаги в литературе, я написал рассказ «Девочка в руках отчима». Он был напечатан в женском журнале «Новый путь». Спустя еще два года я написал на эту же тему рассказ «Человек без головы», его напечатали в журнале «Лицо земли». В нем я изменил имена своих героев. Гаффарджана назвал Фахритдином, Амину — Мехри.

В узбекском языке родной язык называется «она тили», буквально — материнский язык. Ученик спросил: «Почему говорят «материнский язык», а не «отцовский?»»

дисциплину — у входа в интернат поставили дежурных, мальчишек перестали выпускать на улицу, а чтобы наказывать провинившихся ребят, была создана специальная «контрольная комиссия». Мы теперь должны были называть друг друга на «вы», а обращаясь к учителю, отдавать честь и величать его «афандим» — «мой господин»; ходить строем в столовую, не разговаривать во время еды, после непродолжительного послеобеденного отдыха заниматься уроками, разучивать походные песни. Сбор пожертвований, перепись трудовой молодежи — все это кануло в прошлое. Никто нам об этом и не напоминал. Даже на комсомольские собрания мы ходили с разрешения Абдувахаб-домла.

После того как нас приучили к дисциплине, мальчишкам, которые имели родителей, разрешили раз в неделю, в четверг, уходить домой.

В один из четвергов, придя домой, я застал своих родителей в хорошем настроении. Мама прямо зацеловала меня и, вытирая набежавшие от радости слезы, сказала:

— Государство освободило твоего папу от военной службы и открыло ему новую кузницу. Сейчас, оказывается, государству больше серпы нужны, чем солдаты. И железо и уголь государство само для него купит. Дали ему и помощника, хорошего парня. Саид-али его зовут. Да, чуть не забыла, государство целый дом нам выделило. Папа специальную бумагу принес. Завтра переедем туда. Сейчас папа с Саидом приводят его в порядок...

И на другой день утром мы переехали. Наш новый дом стоял на перекрестке в махалле Миртахир. После того как мы выгрузили вещи, папа подождал маму и шутливым тоном сказал:

— Не бойся, можешь поглубже забивать гвоздь в стену, теперь не придется выдергивать!

Кузница отца была напротив нашего дома.

Мы с мамой целый день приводили в порядок комнаты. Вечером я собрался уходить, но мама не отпустила меня: ей хотелось, чтобы хоть в первую ночь я переночевал в новом собственном доме. И я остался.

Утром я проспал в школу. Поспешно выскочив из дома, на повороте в махаллю Бакакурлок я повстречал однокашника Назира. И мы побежали вдвоем. Войдя во двор интерната, мы тихонько шмыгнули в здание. Я вошел первым. По коридору, заложив руки за спину, навстречу мне шел Абдувахаб-домла. Он поманил меня пальцем. Я подбежал к нему и, вытянувшись в струнку, отдал честь и не успел сказать «афандим», как он мне заехал по уху. От неожиданности я чуть

не упал. Учитель кивком указал мне на классную дверь. Назир, испугавшись, вылетел из коридора во двор, но Абдувахаб-домла, оказывается, заметил его и передал дело о нем в «контрольную комиссию», которая приговорила Назира к такому наказанию: когда ребята обедали в столовой, он сидел на стуле у стены с поднятыми вверх руками до тех пор, пока все не закончат обеда.

Начались каникулы. Столько свалилось забот, что в затылке некогда было почесать. Одна девушка, татарка, организовала из самых примерных ребят пионерский отряд. У этой организации тоже много было всяких задач. По воскресеньям они ходили в походы, на экскурсии, осматривали бывшие байские сады. В городе стало спокойнее, басмачи уже не нападали. Только изредка из далеких кишлаков приходили вести о них.

Потом в нашей школе появился молодой человек, который организовал у нас кружок художественной самодеятельности. Среди нас выискались таланты — певцы, декламаторы. Мы стали разучивать песни и декламировать стихи.

Члены нашего кружка приняли участие в концерте, который был дан в мусульманском театре старого города. В концерте мы выступали с тремя номерами — гимнастикой, походной песней и декламацией.

Когда концерт кончился, мы спустились в зал. А на сцену поднялся бородатый мужчина в черном пиджаке, фамилия его была Ахмадханов, потом выступал наш Хакимджан-домла. В своем выступлении Ахмадханов часто повторял слова «человечество», «тиран», «свобода Востока». А Хакимджан-домла говорил о просвещении, о революции, а заканчивая свою речь, сказал что-то об «изменнике Абдувахобе». Мы удивленно переглянулись. Мне показалось, что Хакимджан-домла по ошибке вместо слова «деспот» сказал «изменник». Мы все считали учителя Абдувахоба деспотом.

Когда мы вернулись в школу, весть о «предателе Абдувахобе» уже гуляла по интернату. В общежитии стоял невообразимый шум, мальчишки дрались, садились друг на друга верхом... Дежурный воспитатель ничего не мог сделать с ними. Хор голосов выводил:

*Живи свободно в этом мире,
проснись ты ото сна!*

Появилось слово «анархист». Каждый считал себя анархистом и,

чтобы доказать свою причастность к анархизму, творил бог знает какие дела. И тогда я, вспомнив, как получил от Абдувахаба-домла оплеуху, совершил один неразумный поступок, о котором упомянули на совещании учителей.

Абдувахаб-домла ушел от нас. Вместо него временно назначили директором преподавателя арифметики и географии Пулатджана-домла. Мы все очень любили этого учителя потому, что он все время улыбался.

Ребята, почувствовав свободу, стали меньше заниматься. Их настроение сказывалось и на преподавателях: они отменяли уроки, и мы слонялись по школьному двору без дела.

Один из мальчишек, брат которого учился в партийной школе, на уроке родного языка выступил против буквы «ф» и стал спорить с преподавателем. В перемену в расписании уроков, которое висело в коридоре, он переправил все буквы «ф» на «п». А на другом уроке он задал вопрос учителю: «Почему мы говорим «она тили», а не «ота тили»?³ Этот вопрос, оказывается, поднимался на конференции лингвистов, которая проходила в Ташкенте, и выступивший на ней Фитрат сказал: «Нет ни у кого сомнений в том, что мы родились от матери, а то, что от своих отцов произошли, можно сомневаться». Об этом и рассказал нам учитель.

Прошло лето. Осенью, как-то вернувшись в один из четвергов домой, я застал маму расстроенной. Войдя в комнату, я увидел на стене развешанные на гвоздях три пятизарядные винтовки, несколько патронташей, а на полке, поблескивая металлом, лежало два револьвера. Я очень обрадовался.

Мама стала плакать и жаловаться на папу:

— Хорошо зарабатывал. Только начали как люди жить, и достаток в доме есть, вон и мука, и рис, и масло... Ты только подумай, сынок! Сдал твой отец кузницу и пошел служить в отряды Мелибая- амина! — сказала она и, успокаивая сама себя, добавила: — Правда, далеко он не станет уезжать. Будут, оказывается, ловить басмачей, которые Приходят в город для связи со своими. Да, кстати, ты помнишь в Аккургане нашего соседа? Талибом его звали? Так вот он приезжал от басмачей за патронами в город, и его чуть не поймали... Сбежал... Плохо

³ В узбекском языке родной язык называется «она тили», буквально — материнский язык. Ученик спросил: «Почему говорят «материнский язык», а не «отцовский?»»

только, что иногда в ближние кишлаки все же придется выезжать. Уехал на днях Мелибай-амин со своими джигитами в соседний кишлак, до сих пор не возвратился. А куда поехали, не сказали...

Почему-то вдруг я вспомнил Валихона-суфия.

— Может, в Бувайди поехали! Папа разыщет там Валихона и застрелит его из револьвера! Он ведь не давал житья нам! — сказал я.

— Да, пусть застрелит этого проклятого суфия! — сказала мама и, словно сама готова была расстрелять его, наставила на стену указательный палец. — Пусть и Туракула из Кудаша застрелит! Они нам немало горя доставили! А если в Яйпан попадет, пусть Алима-бува не трогает. Хотя он и ругал и из дома выгонял, хороший был человек...

Мелибая-амин, папиного командира, я встречал и раньше. Это был здоровенный мужчина. Жил он на другом конце нашей улицы, и я часто видел, как к нему приходили вооруженные люди. Мама слышала от папы, что Мелибай-амин сначала был нашим человеком у басмачей и выдавал их потихоньку государству, они об этом пронюхали и сожгли его дом. В отряде Мелибая-амин служили джигиты из разных кишлаков. Тут были и из Авганбага, из Яйпана, из Кырккетмана, Актепы, Найманчи и других кишлаков. Из городских в его отряде были только мой папа, арбакеш и музыкант. Мелибай-амин часто говорил: «Я сын Ленина. Ленин приедет скоро в Коканд. А если не сможет приехать, я сам за ним поеду и привезу!»

Мама поплакала и смирилась с новой «работой» папы. Даже когда он уходил в соседние кишлаки и пропадал по нескольку дней, она не волновалась. Но один трагический случай, который произошел зимой, встревожил не только маму, но и меня.

В этот день по городу прошел слух, что басмачи убили Насырмахсума, зарезали тринадцать красноармейцев. Басмачей, совершивших налет, было очень много.

Насырмахсум был известным преподавателем в городе. Я слышал, что в Тарокчиликке он открыл школу для взрослых, и даже видел его бородатых учеников на первомайском параде, когда они шли под музыку духового оркестра.

На следующий день весь интернат строем отправился к соборной мечети. На улицах было много народу, а площадь представляла собой людское море: на траурный митинг пришли все городские школы, рабочие и просто жители. Люди шли с красными флагами, повязанными черными лентами. Гробы с красноармейцами были

установлены на площади перед мечетью. Наш интернат оттеснили в сторону, ближе к домам. Откуда-то спереди доносился плач, крики.

Потом послышался чей-то громкий голос. Траурный митинг начался. Наступила такая тишина, что страстные речи выступающих словно эхом относилось далеко-далеко. Стоявший позади нас старый школьный учитель разговорился с нашим директором и рассказал о том, что случилось.

Красноармейцы во главе с Насыром-махсумом отправились в кишлак Чилгиджиды провести выборы в сельские Советы. Выборы прошли успешно. Было угощение. Но кто-то в плов положил гашиш, и все, кто ел его, заснули. Тут нагрянули басмачи и всех красноармейцев вместе с Насыром-махсумом изрубили. Старик сказал, что больше всех басмачи издевались над красноармейцем Кулматом. Видно, Кулмат здорово насолил им в свое время. Сперва они отрезали ему язык и потом только отрубили голову. Я вспомнил, что отца Мамаджана звали Кулматом и что он был красноармейцем. Я посмотрел по сторонам, но Мамаджана не увидел. Когда митинг кончился, дали несколько залпов из винтовок.

В тот же вечер я отпрашиваясь у Пулатджана-домла навестить Мамаджана. Пулатджан-домла очень обрадовался моей инициативе и отпустил со мной еще пятерых ребят, с которыми я и отправился в Кипчакарык. Улица перед домом и двор были полны людей. Мы не смогли попасть даже во двор. Оттуда доносился плач, рыдания.

Мамаджана нигде не нашли. Простояв больше часа на улице, мы вернулись в интернат. На другой день я пошел к Мамаджану один. Народу уже было мало, но самого Мамаджана дома опять не оказалось. Мне сказали, что он уехал в свой родной кишлак Богдон. Так я его больше и не видел.

Мама похудела, потому что очень переживала за папу. Не помогали даже отцовы утешения. Она перестала ходить на работу. И только когда мама снова пошла на фабрику, настроение ее поднялось.

А однажды она меня радостно встретила у калитки:

— Кровопийца наконец обрел покой! Да чтоб ему гореть в аду на медленном огне! Никто еще не избегал божьего наказания!

Я ничего не понимал.

— Ты разве не слышал? И вправду, все вести прежде на нашей фабрике узнают. Только и разговоры теперь об этом. Эргаша-курба-ши одна старушка топором зарубила. Говорят, он когда-то ее сына

застрелил. Она пришла к нему с жалобой. Эргаш-курбаши велел пропустить к нему бедную, беззащитную женщину. А старушка, придя в комнату, вытащила из-под паранджи топор и стукнула курбаши по голове. Когда вбежали его джигиты, она все была курбаши по голове, приговаривая: «Вот тебе моя жалоба!»

Я не очень-то поверил этой истории. Но был рад тому, что мама успокоилась. Ей казалось, что со смертью Эргаша исчезли с лица земли все басмачи.

Добрые вести все чаще радовали нас. Мы слышали, что такой-то курбаши попал в руки, такой-то сам сдался в плен вместе со своим отрядом... Но были разговоры и о том, что басмачи ограбили где-то кишлак, сожгли сельсовет. И еще прошел слух, что в Восточную Бухару прибыл один из турецких шахов Анварбек.

Весной наш интернат реорганизовали в «Школу коммуны», и мы переехали в большое светлое здание, бывший байский дом. Во дворе школы был большой фруктовый сад. Директором к нам назначили только что демобилизовавшегося из Красной Армии молодого парня по фамилии Бисиров. Из Ташкента приехали два новых учителя и два воспитателя.

Школу пришлось подремонтировать своими силами. Бисиров-домла каждый день оставался после занятий и с нами приводил в порядок классы. Мы убирали во дворе, сажали цветы и деревья. При школе открылся клуб. На собранные нами пожертвования купили книги для библиотеки. С каким-то особым вдохновением мы готовились к празднику.

А накануне Первого мая нам всем выдали новенькие формы. И когда на следующий день в новых ботинках и новых формах мы вышли строем на улицу, прохожие, невольно любуясь, глазели на нас замороженно. А на площади, где всегда проходил парад, нас встретили восторженными аплодисментами. Пройдя сквозь толпу любопытных, мы остановились недалеко от трибуны.

Через некоторое время на площадь вступили студенты педучилища. Они пели:

*Грядет революция ало,
сердца сотряся в скалы.
Над гнетом тиранов она
победой в веках засияла.*

*Живи, революция, здравствуй!
Пусть свет твой над нами не гаснет,
пусть тот добивается! прав,
кто был униженью подвластен.*

*Над нами простерла ты крылья,
дала нам простор в изобилье,
и мы посвящаем тебе
и думы свои и усилия!*

Отряд студентов обошел трибуну и, потоптавшись, по команде замер на месте. На протяжении всего митинга мы не отрывали от них глаз. Не только я, любой мальчишка мечтал скорее стать взрослым и шагать в ногу со студентами, сотрясая город песней.

Вскоре прошел слух о том, что наша школа станет филиалом педучилища. Все лето только и было разговору об этом, а когда до начала занятий оставалась неделя, нам сообщили, что педучилище отберет из нашей школы самых лучших учеников. И через два дня Пулатджан-домла, построив по росту пятьдесят человек, повел нас в педучилище. Оно находилось теперь в здании бывшей женской гимназии, которая была рядом с церковью. Там уже собрались ребята и из других школ. Нас всех собрали в классе. Один из ребят сказал: «Сейчас придет самый главный преподаватель педучилища Кары-Ниязи. Говорят, он способных ребят по глазам узнает». Все сидели тихо, широко раскрыв глаза, и ожидали своей участи. При слове «главный» я представил себе благообразного старика с длинной седой бородой, а Пулатджан-домла ввел в класс невысокого роста худенького черноволосого парня в костюме. Кары-Ниязи, заложив руки за спину, прошелся между рядами и, внезапно остановившись, указал пальцем на мальчишку, сидевшего в третьем ряду: «Ты!» Мальчик вскочил из-за парты и в сопровождении Пулатджана-домла вышел из класса. Кары-Ниязи ходил между рядов, изучая ребят, потом указал еще на одного из мальчишек. Тот тоже ушел. На третий раз его взгляд остановился на мне.

Более чем из ста ребят в педучилище отобрали пятьдесят шесть человек. Все мы стали учениками образцово-показательной школы при педучилище, от которой до самого училища был всего один шаг.

Мне показалось, что в эту неделю у меня начал ломаться голос. Я был вне себя от радости.

1965

Перевод И. Симонова и К. Хакимова